



Мира Хартвелл

Сеанс
Окончен

Мира Хартвелл

Сеанс окончен

<https://litres.ru/74674549>

SelfPub; 2026

Аннотация

В приморском Маркхэм-он-Си каждый знает: бывший фокусник Орфео Уинтерборн не верит в чудеса. Поэтому городской медиум приглашает его на закрытый спиритический сеанс — посмотреть, сумеет ли скептик объяснить происходящее.

Но во время сеанса медиум умирает на глазах у восьми свидетелей. Все сидели в кругу, держась за руки. Кто же мог до него добраться?

Пока город гадает, не вмешались ли потусторонние силы, Орфео ищет секрет трюка. Помочь ему берётся Кэсс Найт — женщина, которая понимает чужое горе куда лучше него. Среди старых афиш, сценического реквизита и тайн обитателей пирса им предстоит выяснить, как было совершено невозможное убийство.

«Сеанс окончен» — уютный детектив о том, что за каждым чудом стоит чья-то рука.

Содержание

Глава 1. Приглашение	5
Глава 2. Комната и лавка	18
Глава 3. Контролёр	30
Глава 4. Трижды	43
Глава 5. Уход к духам	56
Глава 6. Музей шарлатана	68
Глава 7. «ПРОСТИ, ГАЙ»	81
Конец ознакомительного фрагмента.	83

Мира Хартвелл

Сеанс окончен

Цикл Правила Орфео. Книга I.

Глава 1. Приглашение

Клетка стояла пустая, и утро немедленно сделалось интереснее.

Орфео Уинтерборн застыл с рукой на выключателе: дверца сидела на шпингалете, кормушка была полна овсом, поилка не пролила ни капли, а газетная подстилка лежала гладкая, будто её кто-то разгладил ладонью. За окном дышал ноябрь — низкое небо, стянутое к горизонту море, ветер с солью и предзимьем. Летние гости уехали до весны, и Королевский пирс снова стало слышно насквозь: поскрипывали доски, позвякивали снасти, баклан у свай разбирал свои чёрные неторопливые дела. Похоже, утреннее представление отменялось без всяких извинений перед публикой.

— Тридцатый раз, — проговорил Орфео пустой клетке. — Поздравляю: вы в очередной раз переиграли специалиста с пятидесятилетним стажем.

Поиски много времени не заняли: лавка была маленькая, а подозреваемых в ней водилось ещё меньше. Орфео заглянул в жестяную банку из-под сахара, в футляр от «птицы Феникс», пустой уже лет двадцать, и наконец обнаружил беглеца за прилавком, в ящике с упаковочной бумагой. Гудини сидел, опёршись на опрокинутую шляпную коробку, и держал в передних лапах морковный маффин — половины маффина лавка уже не досчитывалась. К шляпам у кролика оста-

лась юношеская травма, поэтому коробку он не занимал, а именно опрокидывал, из принципа. Шерсть у арестанта была ангорская, цвета непроклеенной бумаги, а взгляд — у человека, который нашёл кошелёк и ещё не решил, что с ним делать.

Лавка называлась «Секрета нет» — имя это прибили к вывеске четверть века назад, и город употреблял его одновременно как предостережение, шутку и адрес: «встречаемся у двери без секрета». По стенам висели афиши гастрольных сезонов, в рамке под стеклом лежали пять писанных правил — чтобы всякий грамотный мог проверять, — а над прилавком на гвозде висела трость, которую Орфео брал не для ходьбы, а для указки: трость в его руках работала лучше микрофона. Собственные руки по утрам он проверял первым, раньше посетителей и раньше кролика: правая берёт монету, левая отпускает; если цепочка держится, день можно начинать.

В девять звякнул колокольчик: вошла Ана Кошта, внучка пекаря Мариу, что держит пекарню у самого входа на пирс, — тёмная коса, мука на рукаве, коробка, от которой по лавке расходились корица и жжёный сахар. По субботам она числилась в лавке помощницей, а по сути ученицей: жалованье выдавалось маффинами, премии — правом трогать верхнюю полку, куда не дотягивалась ни одна детская рука. Дед отпустил её до вечера с напутствием, в котором вежливым было только слово «утро».

— Только не это, — огорчилась Ана, разглядывая пушистого арестанта, — опять?

— Опять, — подтвердил Орфео и поднял нарушителя на руки тоном, каким зачитывают приговоры. — Обратите внимание на шпингалет: дверца заперта изнутри, кормушка полная, замок ни при чём. Секрет никогда не в замке, дитя, — секрет в том, кто в эту минуту смотрит на замок. Кормушка стучит в восемь, я подхожу в восемь, дверцу открываю я, собственными руками, искренне уверенный, что распоряжаюсь утром. Побег устроен не кроликом, Ана, — побег устроен мной.

Ана захлопала в ладоши: в этой лавке любую лекцию принимали хлопками, потому что других валют здесь не признавали. До полудня она провела инвентаризацию — двенадцать колод, из них четыре с секретом; зонт с двойным дном; три медных чаши; плакат «Съеденная дама» тысяча девятьсот семьдесят первого года, — а Орфео резал карточки для новой витрины и поглядывал на ломберный столик у окна, с лампой под зелёным абажуром и табличкой «Сидеть вдвоём». Стол ждал воскресенья с того самого понедельника.

Воскресные вечера были у лавки давним заведённым порядком: скамьи из подсобки, кружки с отколотыми краями, кролик в коробке на краю стола — живой пример того, что исчезновение есть ремесло, а не случайность. Приходили пенсионеры с набережной, приводили внуков, платили за вход правдой по себестоимости и уходили всегда с одной и

той же фразой: «значит, можно и не бояться». Эта фраза и была в лавке главной кассой.

В четверть двенадцатого щёлкнула почтовая щель, и на доски упал конверт. Плотная кремовая бумага, сургуч с оттиском ладони, чернильная давка знаков; бумага пахла лавандой и деньгами — сочетание, характерное для всех, кто торгует утешением. Ана подала его на вытянутых руках, как подают не то сырое яйцо, не то гранату.

Мистеру Орфео Уинтерборну, эсквайру, — по адресу моря и ветра.

Дорогой коллега по цеху, в пятницу, в малом зале павильона, состоится закрытый вечер «Круг соприкосновения». Восемь кресел, из которых семь заняты людьми, чья вера проверена десятилетиями, а восьмое я скромно оставил Вам.

Займите кресло контролёра и контролируйте честно: смотрите в оба, трогайте реквизит, задавайте вопросы. Если к полуночи Вы не назовёте мне механизм происходящего — признайте публично, что невозможное случилось. Если назовёте — я первый аплодирую стоя.

Ваш Элдред Марш, медиум Маркхэма.

P. S. В пятницу же выходит мой манифест о Великом откровении. Ваша фамилия значится в оглавлении — не благодарите.

Орфео прочёл письмо дважды: сперва как текст, потом как счёт-фактуру. Сорок лет перед залом научили его главному правилу торговли: бесплатное кресло бывает дороже

платного. Кресло контролёра он знал в лицо — его трижды предлагали комиссиям, дважды журналистам, однажды заезжему епископу, и ни разу оно не оправдало расчётов. Контролёра на подобных вечерах кормят, хвалят и оберегают от всего, что можно потрогать.

Он знал ещё одно: контролёра сажают не для проверки, а для декорации. В семьдесят девятом так же пригласили старого часовщика из Плимута — дали ему кресло, лампу и право трогать реквизит; к полуночи часовщик плакал и рассказывал, что видел свою мать. Потом выяснилось, что мать ему не снилась сорок лет, а хозяин вечера знал о ней ровно то, что часовщик сам рассказал в очереди за билетом. Кресло контролёра — это не место, а вопрос, который задают гостю: «Что вам нужно услышать?» — и гость отвечает раньше, чем успевает соврать.

Элдред Марш торговал разговорами с той стороной дольше, чем вывеска висела на своих крючьях: фляжка «эликсира», бархатный пиджак с блестящими локтями, голос, нарочно поставленный под вату. Про фляжку город рассказывал нежно и по-разному — то ли валериана, то ли кола, то ли чистая вера; Марш не разъяснял, потому что тайна всегда стоила дороже содержимого. Смеяться над ним было городской традицией, слушать — привычкой, а верить ему сбережения — добрым обычаем половины старых дам. Теперь он собрался продавать не послания, а их разоблачение, и это, если подумать, был самый честный товар за всю его карьеру.

Кабинет его стоял у входа на павильон, слева от кассы: дощечка с фамилией, турецкий занавес и конторка, на которой секретарша совмещала должности, принимая очередь на «личный час» за малую плату и на «вечерний круг» за большую. Весь город наизусть знал, у кого сгорела керосинная лавка, чей сын вернулся с моря и кто не доживёт до весны: Марш половине этого населения возвращал его же собственные слова, отполировав до пророчества, а вторую половину держал в запасе на день расчёта. Теперь день расчёта приближался, и вместе с ним подходил и счёт.

Лавки их и правда глядели друг на друга через главную улицу — сорок лет, с той осени, когда Марш приехал в Маркхэм за «континентальным дыханием морской воды» и остался. Дружбы не получилось, зато получилось удобное соседство: каждый считал другого живым доказательством собственной правоты, а колкости пересылали по почте, экономя на марках. Город ставил на Марша — город всегда ставит на чудо.

— Он же шарлатан, — заметила Ана, вытирая руки о фартук, будто письмо пачкалось на расстоянии. — Всегда был шарлатаном, вы сами говорили.

— Худший вид шарлатана, дитя: искренний. Марш давно убедил сначала себя, а уж потом полгорода. Самозванец, который верит в собственный товар, не ошибается в мелочах — он их совершает заранее. А потому опасен вдвойне: разрушает и чужую веру, и свою, и обеими торгует с наслажде-

нием.

— Считаю выгоды, — проговорил Орфео, выкладывая письмо на прилавок. — Первое: манифесту нужен в зале скептик, спор со мной продаст тираж лучше рекламы, и я стану бесплатной обложкой. Второе: если к полуночи я не назову механизм, мне придётся публично снять шляпу, и город навсегда запомнит, кто из нас двоих оказался прав.

Он знал эти кабинеты, эти манифесты и эти оглавления: сначала глава присылается её герою, герой, польщённый, читает о себе в лучшем виде, а в вечер, когда глава зачитывается вслух, тот же герой — уже без польщённости — платит за билет, чтобы услышать про себя правду с уценкой. Трюк не имел постоянного адреса: он ездил третьим классом и всегда прибывал первым.

Третьим плательщиком мог быть кто угодно: конкурент, газета, совет павильона, вдова с деньгами и обидой. Орфео не любил неизвестных плательщиков больше, чем не любил проигрывать; в его ремесле неизвестный счёт означал, что номер уже куплен, а он в нём — не фокусник, а реквизит.

— Может, ничего третьего и нет?

— Бесплатного не бывает. Кресло бесплатное, вечер закрытый, афиша клеится за неделю до срока — значит, платит кто-то третий, и имя плательщика мне пока неизвестно. Вот за этим неизвестным я и пойду: любопытство — единственное, что водится у меня в кармане бесплатно.

До пятницы он решил зайти в павильон под предлогом

осмотра реквизита — письмо разрешало трогать, а разрешение в его ремесле стоило дороже приглашения. Ему хотелось посмотреть на замки, на швы слейта и на то, как расставлены кресла; по расстановке мебели он читал замысел вернее, чем по афише. Если кресло контролёра стоит так, чтобы его видели все, — значит, спектакль про него; если так, чтобы он видел всех, — значит, хозяин готовит свидетеля. В обоих случаях следовало прийти заранее и потрогать петли.

— А вдруг он прав и вы правда не назовёте механизм?

— Дуэли с шарлатанами — моя кардиограмма, дитя. Плох тот кардиолог, что боится собственной кардиограммы. И запомни: человек, который зовёт судью, заранее решил, чем его кормить. Наше дело — ужинать дома, в тишине и без свидетелей.

Ответ он продиктовал в три строки — «Буду в пятницу. Кресло сохраните. Реквизит потрогаю с разрешения хозяина» — и остался доволен экономией: длинные письма обаяют. Потом достал из-под прилавка лист картона и тушь.

— Раз город готовит нам дуэль, в воскресенье он узнает, по каким правилам дерутся честно. Пиши крупно, это пойдёт в рамки. Правило первое: фокус невозможен, пока не знаешь секрета, — значит, любое «невозможное» событие имеет секрет, и секрет будет показан. Второе: публика смотрит туда, куда её просят смотреть; ищите, куда сворачивали ваш взгляд, — там дыра. Третье: у каждого чуда ровно три объяснения — чудо, совпадение и трюк; первые два в Марк-

хэм-он-Си не водятся. Четвёртое: реквизит всегда возвращается на своё место; кто последним его касался, тот и хозяин секрета. Пятое: настоящий фокусник не даёт обещаний, которые не может исполнить, — и автор правил не исключение.

— Это четвёртое кто вам написал? — спросила Ана, не переставая выводить буквы. — Тот, кто потерял, — ответил Орфео. — Вещь, побывавшая в чужих руках, по вежливости на место не возвращается; её возвращает только закон. А урока, который понятен только через собственную потерю, не отменит ни одна репетиция.

Пока Ана выводила пятое правило, Орфео достал из-под прилавка ученический слейт и стёр прошлое занятие дочиста: на чистой доске мел не держится, и это тоже было правилом, только неписаным. Под стеклом витрины, на другом слейте, всё ещё читался детский росчерк с прошлого воскресенья: «СЕКРЕТА НЕТ?» — со знаком вопроса. Орфео не стал стирать: в пятницу вопрос должен был получить ответ.

Дискуссия о шрифте заняла четверть часа: Ана стояла за курсив, Орфео требовал засечек; сошлись на засечках с курсивной цифрой — союз ремесла и пекарни, как и всё в этой лавке. Потом Ана вывела последнее слово росчерком и задумалась.

— А если однажды случится настоящее?

— Не случится, — сухо произнёс Орфео и всё же посмотрел на неё чуть дольше, чем требовала шутка. — Чудес не бывает — бывает механика, сроки и аудитория. За пятьдесят

лет ни один предмет не нарушил ни одного закона. Нарушали люди — стабильно, из года в год, с полной самоотдачей.

За стёклами между тем жила своими делами улица. Джо из павильона зашёл пообещать удлинитель к ночи костров и по этому поводу дважды прошёл мимо окон, стараясь выглядеть случайным; Ана, не глядя, поправила косу, а на прощание Джо получил маффин — за такие обещания платят вперёд. Артур Данн провёз тележку с музейными экспонатами и отсалютовал через стекло тростью: у них с Орфео был давний договор не тратить слова на ветер. У чайной Пегги Осгуд прибывала к доске афишу «МАНИФЕСТ — ПЯТНИЦА — ВХОД ПО УБЕЖДЕНИЯМ», а заметив в окне лавки зрителя, постучала кистью о банку и крикнула, что газета ждёт от него слова к пятнице. Орфео вышел на порог и ответил, что слово у него всегда одно: «секрет». Пегги записала и осталась довольна — осень обещала сенсацию, а сенсация обещала тираж.

Манифест «Курьер» вывесил во вторник, и пирс начал обсуждать его на том языке, на котором говорят о свадьбе или публичном повешении: с подробностями, с прикидками и с той особой заботливостью, с какой англичане говорят обо всём, что касается покойного или будущего покойного. Пансион «Чайка» заказал два лишних самовара «для нервных», табачник у газетного ларька потребовал дополнительный ящик карандашей — за автографами дело не станет.

В чайной уже делили столы на «маршевые» и «винтер-

борновские» и спорили, кого пригласит хозяйка в пятницу на постоянную стойку; приходский помощник спросил у Орфео по-тихому, грех ли сходить на вечер, если он, вообще-то, не верит, и получил дежурный ответ: не грех, пустая трата вечера; дети с каникул устроили по набережной пари — назовёт ли контролёр механизм до десерта или после; у кассы павильона висело объявление «приглашения по спискам», и очередь поглядеть эти списки была длиннее очереди за театральными билетами.

— Завтра воскресенье, — напомнила Ана, собирая коробку. — Придут и спросят про пятницу.

— И получают ответ, не сомневайся. Моё варьете умерло вместе с танцзалом на Куин-стрит, а рукам за пятьдесят лет привычка не надоела: по воскресеньям они всё равно показывают. Пенсионерам я продаю правду по себестоимости — дешевле только тем, кто приводит внуков.

— А мне завтра делать что?

— Печь, дитя, с утра и до самой темноты. Воскресный вечер без твоей выпечки — лекция, а с выпечкой — театр. И ещё: если придёт госпожа Найт с той стороны улицы, посади её в лучшее кресло у окна. Она держит конкурирующее заведение, но кофе у меня всегда был честнее её убеждений.

О владелице конкурирующего заведения он мог бы добавить куда больше, но предпочитал не говорить ничего лишнего: четыре с лишним десятилетия «Комната тишины» забирала городское горе даром — и забирала, к его досаде, ис-

куснее, чем любая лавка за деньги. Два заведения на противоположных берегах улицы стояли с противоположными посылками, как два барометра: когда барометры не сходились, это предвещало дождь кому-то одному, и оба старались не радоваться заранее.

За сорок лет Орфео ни разу не перешёл улицу в тот час, когда у неё была очередь. Один раз перешёл — за солью; хозяйка лично налила ему чаю и выгнала с солью. С тех пор он соли у неё не брал, зато порядок обоих домов знал лучше всякой приходской книги: кто на какой стороне улицы горюет, в какие дни покупает булочные гроши и у какой калитки плачет тише всех.

Ана хмыкнула, накинула платок и ушла, прижимая коробку, как хоругвь. Орфео оставил над клеткой один фонарик, остальные погасил. Гудини уже спал в ящике с упаковочной бумагой: усы в сахарной пыли, задняя лапа на недоеденном маффине — жест полной и ничем не омрачённой победы.

Гудини не проснулся даже когда щёлкнул шпингалет; в его ремесле сон тоже был профессиональным навыком. Клетку он на всякий случай запер, хотя знал, что замок тут ни при чём. Для порядка: механизм работает только тогда, когда его уважают.

Пятница была через шесть дней, ночь костров — через две недели. Уже у двери Орфео заметил: на той стороне улицы, в доме с бирюзовой дверью, до сих пор ровно горело окно. Госпожа Найт тоже готовилась к воскресенью. Ветер нёс с

моря холод и запах мокрой верёвки; где-то в темноте скрипнула ставня, и Орфео машинально отметил, что ставня на доме Кэсс скрипит второй вечер подряд. Он не пошёл через улицу. Он просто запомнил — как запоминал всё, что может пригодиться в пятницу, — и посмотрел на этот свет чуть дольше, чем требовало соперничество. Потом запер лавку.

Глава 2. Комната и лавка

Воскресное утро в «Комнате тишины» начиналось раньше, чем просыпался пирс: Кэсс заводила спиртовку, ставила чайник, грела две чашки и слушала, как за окном скрипят мокрые канаты и ноябрь шуршит изморосью по брезенту навесов. Дымка в это утро стояла до самых свай, и павильон вырастал из неё по частям — сначала флюгер, потом гребёнка окон, потом доски, которых не было видно, зато было слышно. Перед тем как отворить дверь, Кэсс на минуту задерживала ладонь на крышке своего стола, и жесту этому исполнилось сорок лет, а объяснения он так и не получил ни от кого, включая её саму. Стол отозвался знакомым скрипом — старые друзья разговаривают именно так, без слов, и у них стоило поучиться.

На двери с вечера висела записка с часами: кто в четыре, кто в пять; против шести Кэсс вывела сама — «никто» — и это тоже было частью расписания: в шесть она пила чай одна и учила себя не краснеть за свободный вечер.

Комната была бывшей гардеробной павильона и гордилась этим: два кресла, шаль на спинке каждого, чай по счетам павильона и час, когда человеку разрешали говорить об ушедших вслух. За это Кэсс денег не брала — только за чай и отопление, по справочной книге, с квитанциями в двух экземплярах. Платить за послания она принципиально не уме-

ла и подозревала, что именно поэтому у неё с Элдредом Маршем никогда не выходило ничего, кроме светской вежливости.

От прежней гардеробной в комнате остались крючки для костюмов, зеркало в пятнах амальгамы и запах грима, въевшийся в дерево так, что его не брала ни сода, ни воскресная проповедь. Кэсс не стала выводить этот запах: он напоминал, что за кулисами всегда кто-то переодевается, а значит, у каждого, кто сюда входит, есть другая жизнь, кроме той, которую он собирается рассказать.

Рози пришла раньше часа — впервые за тридцать лет знакомства: без зонта, промокшая, с лицом человека, который всю дорогу спорил сам с собой и каждую партию проиграл. Кэсс накинула ей на плечи шаль, подвинула кресло к спиртовке и села напротив, не задав ни одного вопроса, потому что вопросы в этой комнате следовало заслужить.

Руки Кэсс держала на столе — не сложенные, не тянущиеся: в хосписе её учили, что протянутые руки это половина утешения, а вторую половину можно испортить вопросом не вовремя. Спиртовка шипела, дождь отбивал по навесу неровный вальс, и комната держала эту паузу так, как держала сорок лет чужие паузы, — без ропота. Рози держала чашку обеими руками — так держат не чашку, а последнее тёплое — и молчала долго, глядя в пар над водой.

— Он продаёт нас всех, — выдохнула она наконец. — В пятницу, в своей книжке. Про Гая уже судачат в магазине,

про стол твоего волшебника и подавно. А я двенадцать лет плачу за послания от Гарольда, Кэсс. Если он покажет, как их делает, что тогда останется у меня в комодке под свитерами?

— Рози, — Кэсс дала дождю заполнить паузу, — ты знаешь мою комнату и мои правила. Я не говорю с ушедшими — я даю разговору комнату: чай, тишину и час, в который можно говорить о них вслух, сколько поместится. Вот и весь мой секрет, стоит он ноль, и продать его нельзя.

— А если послания — бумага? — прошептала Рози. — Его, наши, двенадцать лет я разговаривала, а теперь мне скажут, с кем?

— Не знаю, — мягко произнесла Кэсс. — Слышат ли они, я не знаю, и врать не стану в собственной комнате. Знаю другое: тебе стало легче, когда ты заговорила о нём вслух, и сделала это ты сама, а не тот, кто торгует чужим горем в рассрочку. Стыдиться тут нечего, Рози, а стыдно будет тому, кто превратил чужое горе в товар и ещё взял аванс.

Кэсс научилась этому в Плимуте, у постелей, где слова кончались раньше дыхания. Там нельзя было обещать встречу, нельзя было говорить «он вас слышит»; можно было только сидеть рядом и не мешать человеку самому дойти до того, что он может вынести. За тридцать лет она вынесла из палат одно правило: утешение не приносят, его освобождают. Поэтому она не брала денег за послания — не из святости, а из профессиональной честности: за то, что человек делает сам, платить некому.

Рози выпила ровно половину, взглянула на часы над дверью — до конца её часа оставалось двадцать минут.

— Листки, — проговорила она, глядя на часы, — я не отдам и в пятницу. Двенадцать лет — это не бумага, это срок. Пусть выводит свою книжку, а мои листки полежат в шкапушке, под свитерами: они мои, даже если окажутся газетой.

Она встала, путаясь в мокрых рукавах. В дверях она обернулась, маленькая, серая от дождя и очень прямая.

— Прости меня, — прошептала она, стоя в прихожей. — Зайду в другой раз, только не сегодня, ладно?

Кэсс осталась стоять у окна: страх, пришедший сегодня с Рози, сидел не там, где сидит страх за мужа, — ниже, там, где человек прячет сомнение в самой себе. Двенадцать лет благодарности одним манифестом могли обернуться двенадцатью годами обмана, и Рози боялась не за Гарольда. Она боялась узнать, как её назовут люди, если бумага окажется бумагой. Кэсс знала это чувство по себе: однажды ей уже объяснили, кто она такая, — и объяснение оказалось точнее её собственной жизни, что было хуже любой неправды. Этого Кэсс поправить не могла никакой шалью, и от бессилия она вымыла обе чашки — свою и нетронутую — дольше, чем они того заслуживали.

Пока стекала вода, город говорил за Рози и вместо неё. Пирс уже гудел в тон пятнице: у чайной Пегги Осгуд прилаживали свежий плакат о Великом откровении, у пекарни Кошты очередь спорила о манифесте громче, чем о выпечке,

а из павильона Джо вынес удлинитель для ночи костров и пообещал кому-то из старушек свет к первому числу. У каждого в Маркхэм-он-Си было при Элдреде Марше что терять: кто долг, кто тайну, кто двенадцать лет нежной переписки. Теперь он собрался продавать оглавление чужих тайн разом, с автографом и чаем. Кэсс высушила руки, надела пальто и вышла в изморось: в восемь ей быть в лавке напротив, на воскресном уроке, о котором Орфео известил её ещё во вторник запиской с одной формулировкой — «скептикам вход бесплатный».

К восьми лавка «Секрета нет» была полна: двенадцать кресел для своих, ряд стульев для внуков, которых привозят к шести и увозят к девяти, воск, опилки и кулёк тёплых карамелек, пахнущих жжёным сахаром. Ана разносила карамельки «чудеса», Гудини из ящика с упаковочной бумагой следил за подносом с выражением ревизора, уже составившего мнение, а хозяин лавки стоял у ломберного столика и перебирал монету: пальцы шли по кругу отдельно от разговора, по памяти ремесла. Кэсс достала табурет у окна, села, поправила шаль и приготовилась смотреть, как сорок лет её знакомца портят людям веру в дар.

Считала она по-своему: не трюки, а руки. Левая у Орфео была рабочая, с напёрстком на большом пальце; правая — разговорная, с монетой. За сорок лет соседства Кэсс выучила этот почерк лучше собственного и сейчас сверяла, в порядке ли пальцы. С пальцами всё было в порядке, и от этой

правильности на душе сделалось беспокойно — как водилось всякий раз, когда чужой инструмент звучит чисто и не оставляет права на придирку.

Свои руки она положила на колени ладонями вниз, как клала их у постели, когда нельзя было трогать. Ногти короткие, кожа сухая от спирта, на левом запястье след от старой царапины — подарок пациента, который в бреду принял её за жену. Она не прятала этот след и не показывала его; руки медсестры — это документ, который читают без просьбы, и она давно перестала спорить с тем, что на них написано.

Урок начался с монеты, потому что всякое честное ремесло начинается с рук.

— Ещё раз, — Орфео раскрыл Ане ладонь, и монета легла на неё тёплой медяшкой. — Настоящая уходит вниз, в карман, двойник приезжает сверху, вместе с вопросом. Работает не рука, работает голова зрителя: я говорю с ней, улыбаюсь, и она смотрит мне в лицо, потому что людям так спокойнее. — Держи двойник швом к мизинцу, — он сомкнул её пальцы поверх монеты, не глядя. — Ну и где твой шов, дитя?

— Здесь, у самого шва, вроде бы! — Ана разжала кулак, и двойник блеснул под лампой с честной наглостью подделки.

— Куда шов, туда и совесть, — заметил Орфео. — В нашем ремесле это одно и то же.

После монет настала очередь стола. Орфео сдвинул ломберный в центр, усадил за него вдову со второго ряда и предложил залу задавать вопросы вежливо и по существу. Стол

стучал ответы по своей системе: раз — «нет», дважды — «да», трижды — обстоятельно, по-бухгалтерски. Зал хохотал и стучал в ответ сам себе, а Орфео перевернул стол, снял чехол с ножки и показал механизм: заводной храповик, собачка, стержень; вся конструкция стоила полкроны и одного воскресенья работы.

Потом полкроны пустили по залу, из рук в руки, чтобы каждый примерил храповик на вес и не нашёл в нём ничего стыдного; и внук из третьего ряда спросил, может ли стол ответить на вопрос, которого ему не задавали. Орфео ответил, что может и отвечает чаще, чем всем приятно, — только не о том, о чём спрашивают.

— Вот так и стучат духи, — проговорил он, — по заводной головке. Если в пятницу вам застучат из-за той стороны, спросите вежливо: кто заводил?

Из третьего ряда отставной почтальон спросил, отвечает ли стучащий стол так же подробно на вопрос, который задают про себя и молча, — и получил честный ответ: на такой вопрос отвечает не стол, а тот, кто рядом; стол умеет выдерживать только паузу правильной длины. Зал на секунду сделался серьёзным — ровно настолько, чтобы потом рассмеяться громче.

Почтальон согласился и сел, и Кэсс заметила, как он украдкой вытер ладонь о брюки: вопрос был не праздный. В этом зале у каждого был кто-то, кому хотелось задать вопрос молча, и каждый надеялся, что механизм ответит вме-

сто человека. Орфео не стал разубеждать их полностью — он только показал храповик, — и от этого его урок был честнее любой проповеди: он отнимал надежду на механизм, но не отнимал права на паузу.

Слейты шли следом, и зал притих: чёрная рамка с деревянной доской была в этом городе вещью уважаемой, дорогой и у половины кресел — домашней. Сначала Орфео показал двойной слейт: две доски в раме, между ними лист с готовой надписью, подмена одним поворотом кистей, пока зал смотрит на лицо «проявляющего». Потом он вынес доску без рамы, повернул её к лампе и дал осмотреть всем желающим: мела нет, надписи нет, веры пока тоже нет.

— А теперь, дамы и господа, слейт мёртвый, он же вечный. Утром, до завтрака, я прошёлся по этой доске огарком свечи, вот здесь, и вытер насухо. — Он стряхнул на дерево меловую пыль и медленно поднял доску под углом к лампе. — Смотрите туда, куда смотрю я.

Поперёк доски, серым по чёрному, проступило: «СПАСИБО, ДУХИ». Мел не липнет к дереву — мел липнет к воску, и никакая губка этому не указ, потому что воск тоньше обиды. Надпись, сделанная заранее и стёртая дочиста, проступает под углом света; запомните этот угол, дамы и господа: он дешевле билета в вечность.

Зал разглядывал доску, как разглядывают на приёме у зубного: поднимали к свету, поворачивали, прошупывали взглядом воск; и когда ничего, кроме правды, не обнаружи-

лось, по рядам пошла та неловкая признательность, какую испытывают зрители, когда им разрешают сохранить своё горе бесплатно.

В первом ряду вдова, пересевшая со второго, спросила, задыхаясь, не значит ли всё это, что и в пятницу не будет ничего. Орфео ответил ей без сцены, вытирая руки о жилет:

— Правило третье, мадам, вы знаете: у всякого чуда ровно три объяснения — чудо, совпадение и приём. Из трёх в нашем городе стабильно водится одно.

— Осторожнее на поворотах, дорогой, — отозвалась Кэсс из первого ряда, когда столик под его ладонью скрипнул. — Твой стол скрипит, духи не скрипят никогда, выводы делайте сами.

— Мой стол честен, — проговорил Орфео. — Скрипит публично, за деньги и по расписанию. Чего не скажешь о коллегах по цеху.

Ана в это время отрабатывала шов у витрины; Гудини, соблазнившись крошкой, совершил вылазку к опустевшему подносу и был с позором возвращён на место, в ящик с упаковочной бумагой. Зал расходился неспешно, по-воскресному: допивали чай, пересчитывали карамельки, обещали прийти в пятницу «просто посмотреть, что из этого выйдет». Кэсс помогла Ане составить кресла в штабель и уже собиралась идти, когда Орфео, гася верхние фонарики, наклонился над почтовой щелью и вытащил конверт: кремовая бумага, тёмный сургуч с оттиском ладони. Адрес был выведен с на-

слаждением: «миссис Кэсс Найт, при лавке „Секрета нет“, на виду у всего города».

— Тебе, — проговорил Орфео и подал конверт вместе с перочинным ножом.

Кэсс вскрыла конверт у прилавка, под лампой, потому что прятаться в собственном городе было поздно.

Мисс Найт, дорогая коллега по цеху терпения.

В пятницу, в малом зале павильона, состоится вечер «Круг соприкосновения», и седьмое кресло я смиренно сохраняю для Вас: держите соседей за руки, просите у той стороны знаки — Вы делаете это лучше многих.

В ту же пятницу выходит мой манифест, и одно имя в его оглавлении Вы узнаете прежде прочих, потому что глава зовётся «Медсестра, которая слушает».

Приходите сами, пока Вас не пришли. Ваш Элдред Марш, главный гадатель Маркхэма.

Кэсс прочла дважды — второй раз для того, чтобы руки помнили своё дело, — и палец сам поднялся к губам: старый знак, которому она не учила ни одну ученицу, потому что знак этот значил «я справлюсь, молчите». Слова в письме были выбраны безошибочно: не угроза, а приглашение, и тем хуже. Человек, который пишет «приходите сами, пока Вас не пришли», заранее разложил на столе все ходы, кроме своих собственных.

Орфео заметил — за сорок лет он научился замечать быстрее, чем она успевала прятать, и это было худшее из со-
седств и лучшее. Про письмо он не спросил ничего: ни про главу, ни про кресло. Он поставил перед Кэсс свежую чашку, велел Ане завтра приходить с монетой и с характером и вернулся к фонарикам — гасить их по одному, будто в лавке закончился не вечер, а длинный антракт.

— На пятницу я пойду, — уточнила Кэсс ровным голосом, сделав его ровным усилием. — Не ради его кресла, дорогой. Просто кто-то должен сидеть рядом с людьми, когда над ними разворачивают газету.

— И я о том же, — отозвался Орфео. — С человеком, который приглашает письмами, сидят только при свидетелях. И чай наливайте себе сами, пока я не начал брать за это плату.

Домой было двадцать шагов по доскам, мимо чайной, где Пегги уже снимала за день размокший плакат. Дверь её дома сорок лет стояла бирюзовой — единственный цвет, в котором они с Орфео не сошлись за всю историю споров, а потому самый честный на этой улице. До пятницы оставалось пять дней. Кэсс заперла дверь, поставила конверт под остывающий чайник — пусть ночует на виду, а не в комодe — и достала вторую чашку: час тишины после такого письма полагался ей по праву. Ушедшие в этот час не пришли. Пришла тишина, плотная и тяжёлая, из тех, на которых держатся старые дома у моря, и, опершись на неё, Кэсс честно призна-

лась себе то, чего требовал день: у покоя, который она раздаёт за чашку чая, объявилась цена, и назначил её человек, ставящий печать ладонью.

Больше всего её пугало не слово «медсестра» и не «слушает». Пугало то, как точно Марш угадал, чем её можно держать: не разоблачением, а жалостью. Он напишет о ней так, что городу станет её жаль, — и жалость эта будет липкой, как пластырь, и закроет ей дверь вернее любого замка. Она знала этот сорт милосердия по хоспису: им иногда душили быстрее, чем пренебрежением.

На полке над раковиной стоял ряд починенных чашек — клеёных, скреплённых проволокой, никогда не выбрасываемых: тридцать лет в плимутском хосписе оставили привычку беречь то, что служило. Чашка, из которой пил Гарри в утро своего последнего похода, стояла там же, вверх дном, с отколотым краем, целая. Личный инвентарь, который она не показывала никому, даже горю.

Глава 3. Контролёр

В понедельник море меняло характер, и пирс слышал об этом раньше людей: доски загудели под ногами низким предгрозовым тоном, канаты принялись лязгать о кнехты, а с воды шёл широкий соляной шквал, выворачивавший зонты с честной безнадёжностью. Орфео шёл в павильон, не сгибаясь под ветром, из принципа: сорок лет выходов к рампе приучили его держать спину прямой, пусть сегодняшняя публика состоит из одного шторма и пары чаек. Письмо Марша лежало во внутреннем кармане, потемневшее от перечитывания; права контролёра были выписаны щедро — трогать, спрашивать, смотреть в оба, — и Орфео намеревался использовать их до последней буквы, потому что за полвека ремесла он не встречал подарка опаснее, чем разрешение всё трогать.

На середине нижних досок море уже переписало карту: оно вылезло на пирсовый фартук и не спеша меряло сваи, свет прожектора ломался о воду будто в мутном стекле, а жесть между порывами ветра выводила свой корабельный свист. Сержант Дойл запырил нижний ярус цепью и, разглядев Орфео, на полтакта замешкался с замком — в двадцать девять лет он не перерос мальчишеской привязанности к великому фокуснику, только перенёс её за строчку рапорта.

— Нижний ярус закрыт, сэр, море легло на перила, —

отрапортовал Дойл деловито и, не удержавшись, прибавил служебной вольности: — Когда в павильоне было ваше шоу с пушкой, меня вынесли на помост в пальто больше меня. Пальто до сих пор в кладовке.

— Занесите и это в рапорт, — ответил Орфео, — только припишите: в пятницу набережная будет люднее регаты, а шторму придётся стоять в очереди вместе со всеми.

У музея Артур Данн лично держал круговую оборону от непогоды: в восемьдесят лет он сторожил память пирса надёжнее собственного зонтика. Ставни ещё не закрыли, и на окне висело «Музей закрыт до тихой погоды», а старый хранитель стоял под ним с гвоздём в кулаке и, завидев Орфео, начал издалека: в его времена такой ветер был в восемьдесят восьмом, тогда в павильоне держали оперетту, а не лавку, где соседей распродают по главам. Рядом с афишей, под трещащей от каждого сквозняка плёнкой, колыхалось извещение Пегги Осгуд о Великом откровении — та самая бумажка, о которой с воскресенья спорили у прилавков, у парикмахеров и на весовой, — а под ней чей-то карандаш на обратной стороне билета: «Что он скажет про нас в пятницу, чего не знаем мы сами?»

Малый зал встретил его запахом воска, пыли и канифоли; сезон кончился, зато пятница уже начиналась — помост был вымыт, кресла для круга расставлены частоколом, и на каждом сидела табличка с фамилией, выведенная рукой хозяина вечера. Джо Пирс колдовал у дальней стены, сажая лампы, и

обернулся с такой радостью, с какой встречают не человека, а одобренную смету.

— Мистер Орфео, сэр, всё по регламенту. — Он быстро объяснил, тыча карандашом в разложенный реквизит. — Рука пишущая — часовой завод, ход семьдесят секунд, столбец один и тот же. Стол-стучалка — собачка на храповике, всё на пружинах, заводится до сеанса, часа за два, и до полуночи хватает. Огни — спирт с бурой, зелёное пламя, панель под ножками, триггер у пятки. Шлейфы новые, канал один, к камере не сливается. Я только розетки, сэр, а программа у мистера Марша своя.

Орфео потрогал всё, что велело письмо: повертел пишущую руку в руках, заглянул под стучалку, провёл ногтем по шву двойного слейта. Механики были честные, купленные не торопясь, за большие по здешним меркам деньги, — и всё же почерк проступал чужой, лёгкий, ярмарочный, где всё держится не на дорогих часах, а на точном расчёте человеческого взгляда. Такую школу он видел однажды издалека, в восемьдесят шестом, на пустыре за ярмаркой: шапито с выцветшим полотном, мальчишка у входа выкрикивал названия номеров, имя хозяйки он тогда не разглядел и не запомнил. Вспоминать было неохота, и он не стал.

— Расписки на реквизит есть? — отозвался Орфео. — Протокол осмотра подпишу при двух свидетелях, а то у нас тут контролёров больше, чем верующих.

— Бланки есть, сэр, все подписанные, только вы не вол-

нуйтесь, реквизит честный. — Джо замялся, собирая карандаши. — А Ана в воскресенье придёт? Просто я фонарики для зала уже выбрал, ленту с тёплым светом.

— Передам, считайте вопрос решённым, — проговорил Орфео и нарочно не посмотрел на него, потому что в двадцать четыре года ещё можно было не смотреть.

Разговор о заводе не кончился перечислением. Орфео велел показать весь узел: ремесленник, не проверявший своими руками ход пружины, — не свидетель, а пассажир. Из-под верстака Джо вынул плоский латунный ключ, и ключ сел в барашек пишущей руки без единой щёлчки — подогнано на месте, напильником сельского слесаря; готовая ярмарочная поделка такой подгонки не терпит. Завод встал на третьем обороте, храповик отозвался двумя сухими ударами: стенка на месте.

— А если перекрутить? — спросил Орфео у механизма, не у человека.

— Не даст, сэр, на барашке ограничитель, — отрапортовал Джо, обрадованный правильным вопросом. — Механизм не может захлебнуться, только кончиться. Полный завод держит до полуночи с запасом на программу; на моём счёту вечер укладывается. Ручку я тоже прописал, сэр, она в протоколе: кто и когда заводит.

Осмотр занял два добрых часа; Орфео потребовал всё, что позволяло письмо: выписал реквизит собственной рукой, постранично, с нумерацией каждой вещицы, и заставил

Джо каждую лампу зажигать повторно, потому что свет надо проверять так, как им пользуются, — это половина честного спектакля. Когда пишущая рука сделала полный ход в семьдесят секунд, старик послушал её механизм, как слушают лёгкие: всё в порядке, всё в порядке; но сам порядок был отрепетирован, будто механизм выучил свою партию чужим голосом и теперь повторял её без единой ошибки. К столу-стучалке ток подвели отдельной линией, а под потолком шёл весь старый воздушный канал, просторный и безмолвный. Канал для прохлады, объяснил Джо; звук, добавил он по-инженерно честно, назначения не спрашивает. — Тогда, когда будете пробивать стучалку, стучите трижды и не больше, — произнёс Орфео. — Даже воздух должен знать меру.

Форму «трижды» он вычитал из плана вечера накануне: эликсир — три глотка, стук — три замера, тишина — три паузы; цифра «три» стояла в плане не украшением, а несущей стеной: держись за неё — и вечер не оступится. Орфео выписал все три места отдельным столбиком и обвёл карандашом: привычка отмечать то, что потом назовёшь первым.

Гай Делакруа подстерёг его у служебного входа, под козырьком, где лужа держала оборону с утра: узкоплечий, в пальто с чужого плеча, с портфелем, застёгнутым на все три ремешка, словно портфель ему самому не доверял. Он забормотал ещё с порога, извиняясь за всё сразу — за погоду, за минуты, за то, что живёт на свете так долго.

— Орфео, дружище, две минуты, по-соседски. Вы же зна-

ете мой «Архив чудес», пятьдесят секретов, честно переписанных, спрос на сайте держится, я прилагаю статистику. А Марш со своей книжкой, с этим... откровением — всё, конец торговли, понимаете? Мне нужен вход, я хотел договориться, по-человечески...

— Торговлю спасает не вход, Гай, а товар, — сухо обронил Орфео. — Ваш товар — чужие тайны по подписке. В пятницу такой товар обесценится до последней полушки, потому что тайна, проданная дважды, — это уже не тайна, а подписка на газету. Ступайте домой, дружище, а статистику приберегите для инспектора Трент — она любит графики.

Гай оправдывался ему вслед, что это не торговля, а просвещение, что на форуме спрос держится, что он, между прочим, тоже артист, — и Орфео, не оборачиваясь, записал в свою внутреннюю книгу: Гаю в пятницу нужен был доступ, а не истина. Книга у него была толстая, заведённая с тех лет, когда он сам жил на правду и полкроны за номер.

Тот же день подшил в книгу вторую страницу. Служанка «Империяла» рассказала лавочнику, что гостья из двенадцатого пьёт кофе стоя, читает газеты не пропуская строк и спросила за завтраком, кресло ли контролёра в зале поставили так, чтобы его все видели, или чтобы он всех видел. Вахтёр был уверен, что ответил честно; дама не поблагодарила, оставила крупные чаевые и сдачи не взяла, а служанка обиделась именно на это: честный человек, когда доволен службой, всегда объясняет, за что.

Собственный вопрос стоил дороже чужого пересказа, и Орфео в тот же вечер задал Маршу вопрос прямо, коротко, как молотком. Марш ответил с улыбкой человека, которому польстили: кресло поставят так, чтобы его было видно всему залу, доктор Лоу именно этого пожелала. Ответ был вежлив и ничего не объяснял; Орфео подшил к той же странице: да-ма изучает не вечер, а зрителей вечера, и это дороже любого контроля.

Доктор Присцилла Лоу приехала к четырём, когда небо уже присело на город: седой пучок, костяные очки, тонкие серые перчатки и дорожный плащ без единой складки. Она была вторым контролёром — «контролёром честности», по формулировке Марша, — и Орфео сразу понял, что дуэль скептиков задумана как гвоздь вечера, чуть ли не даром рекламы.

— Вы продаёте тайну, мистер Уинтерборн, — констатировала она вместо приветствия, расписываясь в журнале осмотра. — Я продаю её отсутствие. Спрос один и тот же, и спрос вечен. Мы коллеги, чего бы нам это ни стоило.

— Наука и ремесло, доктор, инструменты разные, и мерить их одной линейкой лениво.

— Психология, мистер Уинтерборн, — наука о том, почему люди платят дважды за одно и то же утешение, а ваша пружина — лишь её частный случай. Я констатировать не люблю, но констатирую: в пятницу вы будете работать на моей стороне баррикады и назовёте механизм раньше меня,

потому что вам платят не деньгами.

Она стянула перчатку, чтобы выправить подпись, и Орфео увидел кисти в красных пятнах — тонкая кожа, расчёсанная до блеска; взгляд его задержался ровно на ту секунду, на которую рассчитывает любое приличное воспитание. Перчатка вернулась на место так же бесшумно, как ушла, и ни один из них не счёл нужным прокомментировать обе операции.

Подпись её в журнале осмотра стояла как корректорская правка: без росчерков, без засечек, буквы с сухой точностью лабораторного бланка. Орфео отметил и это — не протокола ради: тот, кто так подписывается, давно приучен, что ему верят на основании одной только подписи, и бережёт время на всё остальное.

— Состав у Элдредда достойный, — продолжила она, надевая очки для чтения журнала. — Управляющая отелем, музейный хранитель, сын, вдова, торговец тайнами, ваш техник и ваша коллега по цеху. Каждый придёт по своей нужде, и ни одна нужда не любит афиш.

— Зал из нужды — лучший зал, доктор, — отозвался Орфео. — В таком зале никто не притворяется. Договоримся о правилах дуэли до пятницы: вы спорите с моим механизмом, я с вашим методом, и обе стороны проигрывают честно, при свидетелях.

— Выигрывает зал, — заметила Присцилла без улыбки. — Это я и называю честным вечером.

— Но ведь вы, доктор, опасаетесь, что в пятницу механи-

ку разгадают раньше вас, — повернул Орфео. — Фокусник без тайны — водопроводчик с гаечным ключом.

— С ключом хотя бы можно что-нибудь подкрутить, — признала Присцилла.

— Метод ничем не подкрутишь, — продолжал Орфео, — у него другое ремесло: раскручивать. Где же нам с вами встретиться, нам обоим раскрутичам?

— В одной и той же службе, — констатировала Присцилла. — Мы оба оставляем человека наедине с тем, что ему продали. Утешаем — нет, мы только прибавляем свет. Люди любят свет потусклее, это тоже статистика.

Протокол контролёров она подписала не перечитывая, и это Орфео тоже отметил: бумаге она доверяла так, как доверяют дорожной иконе — она всегда при тебе и не подведёт. У метода со слепым пятном такого размера будущее; аудиторы такие подарки принимают без смущения.

Уходя, она спросила у Джо, кто заводит автоматы до начала, и записала ответ в карманный блокнот; этот вопрос Орфео задавал себе полчаса назад, и то, что она задала его вслух, было приятнее любого комплимента: дуэль обещала быть честной, а честная дуэль стоит дешевле любого обмана.

К семи шторм присел на город всерьёз, и лавка «Секрета нет» гудела на ветру, как жестянка на проводах; лампы мигали, опилки на полу дрожали, а репетиция воскресного номера шла своим чередом. Ана отрабатывала номер с монетой — шов, поворот кистей, взгляд в лицо человеку слева,

— и уже почти не роняла двойник; имбирные пряники она принесла в жестяной коробке и раздавала строго по одному, за успех, чтобы не разбаловать комиссию. Гудини наблюдал из ящика с упаковочной бумагой, деловито и сыто, как инспектор, у которого отчёт принят.

На парте для уроков стоял раскрытый ящик прежних занятий: слейты, мел, запасные карандаши; Орфео, проходя, переложил карандаши в правый отсек — порядок ящика он ценил выше порядка мыслей, потому что мысли путались чаще. Ана спросила, правда ли, что в пятницу весь пирс придёт глядеть, как ловят обманщика.

— Правда, — ответил Орфео. — Только обманщика будут ловить люди, билет которых не покупался на разоблачение. Это самый трудный зал, дитя: за бесплатное спрос бывает злее, чем за дорогое.

Гудини, слушая это назидание, изволил выбраться из своего ящика и водвориться на парту, как на кафедру; занятие с кроликом на кафедре считалось в лавке продвинутым: кролик задавал вопросы и сам на них отвечал.

Шторм трижды пробовал ставню на прочность, ветер ходил по набережной, а лавка сидела освещённая, будто ошвартованная у причала: когда стихия занята снаружи, ремеслу следует быть занятым внутри, иначе страх найдёт себе место сам.

За третьим заходом за карандашами Орфео пролистал в своей толстой внутренней книге ту страницу, которую завёл

с утра: кому пятница в прибыль? — не вопрос, а домовая счётная книга; всякая встреча, где кто-то теряет, начинает защищаться. Марш собирался распродать город по главам — его выгода была проста, как касса отеля. Верити берегла свой отель для весеннего сезона и не желала встречать сезон посреди скандала. Артур помнил павильон опереттой и не хотел видеть его лавкой откровений. Юрист-сын прятал отцовские долги в собственном кармане, и книга была по фамилии вернее всякого шквала. Делакруа жил чужими секретами и к воскресенью разорился бы без покупателя. Собственное ремесло — фокусник да хозяйка, держащая свой дом на чужих потерях, — ждало от пятницы исков и проповедей на каждом углу. О том, кто в этом списке держался упрямо и терпеливо, записей не было; записи густели, а толку от них, как обычно у всякого честного счетовода, должно было стать видно к концу недели.

— Зал прощает неумелость, дитя, и никогда не прощает спешки, — проговорил Орфео, перехватывая монету на лету. — Медленная рука выглядит честной; мы торгуем не скоростью, а доверием, и скидок на погоду не делаем даже сегодня.

Рози Финч постучала в девять, успев до главного шквала: в дождевике, с жестяной шкатулкой у груди, маленькая и очень прямая. Она села, положила шкатулку на прилавок и подвинула её обеими руками к Орфео — так подвигают не вещи, а обязанности.

— Проверьте, мистер Орфео, — выдохнула она, глядя в чайник. — Вы один можете, а я любое честное слово выдержу.

В шкатулке лежали листки — двенадцать лет, в папиросной бумаге, самая плотная половина; сверху она открыла три, самые дорогие, и отвела глаза к окну. Орфео читал медленно, двумя пальцами, как берут хрупкое: «Берегись северных ветров, моя девочка». «Вечер был тихий, и лодка держалась». «Береги себя, милая, и не горюй попусту». Фразы жили в печати задолго до папиросной бумаги — в колонках советов, в утешительных открытках, в поздравительных оборотах, которые расходятся тысячами экземпляров по всем приморским городам; слова, собранные не от любви, а по памяти о чужой любви.

Он положил листки обратно тем же порядком, каким взял, и накрыл бумагой угол, загнувшийся от старости.

— Совпадение — ещё не приговор, миссис Финч, и я не произношу приговоров по трём строчкам. Дайте мне срок до четверга: в подшивках «Маркхэм Курьер» лежит вся печать города за сорок лет, я подниму её молча и без свидетелей. Найдётся источник — скажу вам первым, глядя в лицо. Не найдётся — приду извиняться с пряниками.

Рози прошептала спасибо, не глядя на него, и застегнула шкатулку, и минуты две собиралась с духом, слушая, как ветер перебирает вывеску.

— В пятницу я пойду, — прошептала она наконец, — в

этот его круг. Пусть он повторит это мне в лицо, при всех. Я сорок лет не боялась моря, мистер Орфео, не начну с бумаги.

Он поднял было руку, чтобы отсоветовать, и опустил её, потому что возражать человеку, который только что сам себя уговорил, — худшее из занятий.

— Кресло у прохода, миссис Финч. Свежий воздух и быстрый выход — на всякий вечер жизни.

И придвинул жестяную коробку с пряниками на четверть оборота ближе, чтобы дорога от шкатулки до двери шла мимо печенья: человек уходит в том настроении, в каком его накормили, а в арифметике Розы выход следовало подсластить.

В одиннадцать он запер лавку, когда ветер бил в стёкла уже со злостью, а вывеска раскачивалась на двух крючьях, как маятник больших часов. Четыре дня оставалось до пятницы, зал собирался из причин, и ни одна причина не любит света — на то он и свет. Скучными бывают только вечера, где у всех всё хорошо. Пятница обещала не быть скучной.

Глава 4. Трижды

В пятницу «Комната тишины» осталась пустой до самого вечера — впервые за двенадцать лет Кэсс перенесла все часы, обойдя утром каждого, кто должен был прийти, и никто не спорил: весь пирс вечером шёл в павильон, и скорбящим тоже полагалось место в истории. Шторм отыгрался за ночь, море приходило в себя, и доски пахли мокрой галькой и смолой. Перед выходом Кэсс погасила спиртовку, разгладила шаль на спинке кресла и сообщила комнате вслух, что вернётся, — тридцать лет у чужих постелей приучили её предупреждать тех, кто не отвечает.

Обход занял больше времени, чем она рассчитывала. В первом доме старуха спросила, будет ли вечером на сеансе её муж; Кэсс ответила, что будет она сама, и этого хватило, чтобы на столе появилась вторая чашка. Во втором ей оставили записку для сына, утонувшего позапрошлой осенью, и попросили прочесть её вслух не раньше вечера, а лучше завтра. В третьем никто не открыл; за дверью слышались шаги, останавливались и уходили вглубь, и Кэсс постояла на крыльце, слушая, — человек имеет право не пускать к себе даже утешение. Она оставила под дверью записку с новыми часами и пошла дальше, потому что у горевания тоже бывает занято.

Страх она привела с собой, не оставив дома: утром по

пирсу разошлась брошюра в бумажной обложке, и пирс читал её вслух — у пекарни, на голоса, с азартом людей, которым аукнулось чужое. Кэсс свою брошюру не открывала. Она знала её наизусть заранее — по оглавлению, присланному в конверте с сургучной ладонью, и знала за собой одну слабость: она боялась не за своё имя, а за два кресла, чайник и час тишины, которые Совет павильона давал ей по копеечной аренде. Советы не любят скандалов больше, чем любят правду.

У пекарни её нагнал Мариу Кошта — в переднике поверх пальто, с бумажным кульком, от которого шёл жар. Он вложил кулёк ей в руки раньше, чем она успела отказаться, и объяснил, что это для круга, а не для Марша: пусть едят те, кому вечером сидеть с пустыми руками. Кэсс спросила, читал ли он брошюру. Мариу ответил, что читал оглавление и доволен: в его семье никто не попал в главы, а это уже реклама. Потом всё-таки посмотрел на неё поверх очков и добавил, что седьмая строка — глупая, потому что про слушающую медсестру нельзя написать главу, её можно только просидеть в комнате. Кэсс поблагодарила и ушла, держа кулёк обеими руками, как держат горячее, — с ним было легче идти навстречу собственному разоблачению.

Павильон к половине девятого горел лампами, каких не зажигали с конца сезона; малый зал был убран, помост протёрт, и в дальнем углу брала оборону буфетная стойка Верити Коул. Верити разливала безалкогольный глинтвейн по

глиняным чашкам, считая их взглядом, как считают расходники.

— Глинтвейн без спиртного, — пояснила она. — Для ровного пульса господина; заведение отвечает за всё, что происходит в его стенах. Буфет закрываю в девять ровно, стаканы пересчитываю сегодня лично.

— Стаканы у вас в порядке, Верити, как и всё в этом отеле, — отозвалась Кэсс, беря чашку.

— В отеле порядок потому, что за ним следят, — ответила Верити без паузы. — Сезон кончился, а счёт остался до весны.

Вокруг буфетной стойки стояло то маленькое образцовое хозяйство, которым отель встречает плохой сезон: стаканы по описи, самоварное топливо поштучно, записка на уголке прилавка почерком, похожим на письменный приказ: «шестой стул не для публики, а для зала». Кэсс записку прочла и поставила ровно: похоже, даже мебель здесь имела своё расписание.

На стойке, кроме чашек, стоял жестяной бочонок с запасными стёклами и кружка-мера для глинтвейна: Верити наливала по мерке и ни на палец больше, а побитые стаканы вписывала в ведомость в тот же вечер — обычай, от которого у постояльцев холодело сильнее, чем от сквозняка. Кэсс знавала такие хозяйства: порядок, доведённый до привычки, переживал хозяек, сезоны и похороны.

Ана Кошта появилась в четверть девятого с подносом, на-

крытым полотенцем, и с видом человека, которому доверили нести чужой праздник. За ней, держа дверь плечом, вошёл Джо; поднос он принял у неё на середине зала и понёс дальше сам, старательно, будто нёс не пирожные, а распределительный щит. Верити отступила на полшага, освобождая место на стойке, и предупредила, что крошки в зале считаются у неё поштучно, но голос у неё был не сердитый, а скорее заинтересованный. Ана поставила паштел-де-ната ровным кругом, поправила салфетку и осталась стоять рядом с Джо, пока тот объяснял ей, какая лампа зажигается первой; объяснение выходило длинным, а слушала она его так, как слушают музыку в чужом саду, — не перебивая и чуть склонив голову. Кэсс отвела глаза, чтобы не мешать молодым людям делать вид, что они заняты делом. Свой кулёк она поставила на край стойки, и Верити, не спрашивая, переложила печенье на блюдо. Потом Верити попросила Ану остаться при стойке до конца вечера, и та ушла в буфетную за салфетками; Джо проводил её взглядом до двери, после чего вспомнил, что у него не проверен третий шнур.

Артур Данн стоял у стены с видом человека, приглашённого внутрь чужой ошибки: «В мои времена в этом зале пели оперетту, — проворчал он, глядя на круг кресел. — Теперь вот круги сидя, стулья вместо оркестровой ямы. Балка там в перекрытии пустяковая, а всё-таки историческая; экспонат бы лучше поставили, чем стулья». Гай Делакруа бормотал у буфета, что показывал мистеру Маршу статистику, честную

статистику, и что вход в пятницу решает всё; стакан у него в руке ходил ходуном. Томас Марш держал стакан воды обеими руками, как держат документ, и ровно, с паузой посередине, передал, что отец рад всем видеть и до начала не принимает.

Тем временем техник расставлял кресла круга, как орудийный расчёт: каждое строго по струне, таблички прямо, подушки развёрнуты к середине. Кэсс только собралась заметить, что он во второй раз поправил именно картончик на третьем кресле с краю, как поняла: для мальчишки это первый вечер, когда его работу могут заметить, — так в этой жизни устраивают всё будто в первый раз.

Стопка брошюр лежала у стойки, придержанная для круга; на обложке горело «ВЕЛИКОЕ ОТКРОВЕНИЕ», под ним — более мелкое «Элдред Марш, гадатель Маркхэма». Кэсс открыла оглавление, потому что приехавший с ней страх требовал еды. Столбик глав был короткий; седьмая строка глядела оттуда с типографской уверенностью: «Медсестра, которая слушает».

Ниже шли ещё шесть названий, и каждое было готовым мотивом: «Сын, покупавший отца», «Вдова и двенадцать лет», «Хранитель чужой памяти», «Торговец чужими секретами», «Дама с распиской», «Контролёр, который не верил». Столбик выходил короче списка прихожан и длиннее любого доноса: Марш собирал город в книгу, как аптекарь собирает полку, — по названиям банок, не заглядывая внутрь.

Страх был маленький и деловитый — за два кресла, за чайник, за час, когда человеку разрешают говорить вслух. Кэсс выровняла шаль на плечах и дождалась, пока рука перестанет это чувствовать.

В её списке были и другие маленькие страхи; крупные, собственные, на вечер в павильон не брали — их, как детей в театр, с собой не носят, но и совсем одних не оставляют. Вечер был из тех, куда весь город идёт в партер, чтобы завтра решить, стоило ли.

— Он пишет лучше, чем говорит, — уточнила она, когда рядом остановился Орфео. — Это первый комплимент, который я ему сделала за сорок лет.

— Печать вообще честнее бархата, дорогая моя, — отозвался Орфео, ставя её чашку на открытую страницу с достоинством пресс-папье. — Бумага хотя бы не притворяется голосом.

В половине девятого дверь кабинета приоткрылась, и Роза попросила мистера Марша на минуту, по делу, сию же минуту — минуты хватило. Голоса за стеной держали приличие ровно до второго предложения, а дальше стеной стало слышно всё, что полагается слышать только стене.

— ...двенадцать лет, Элдред, я приносила вам деньги, как в церковную тарелочку...

— ...никаких гарантий не существует, мадам, вы расписывались за добровольность...

— ...верните хотя бы за последний год, вы обязаны, я тре-

бую...

Потом по столу ударила ладонь — глухо, без стука кулака, и стало очень тихо. Слышали все; приличие удерживали, кажется, только Том и Джо, повёрнутые друг к другу с усердием школьников. Верити беззвучно придвинула кастрюлю с глинтвейном вглубь стойки, подальше от прилива. Присцилла Лоу дослушала до конца, не отрываясь от брошюры, и заметила в пространство:

— Плата за утешение возвращается редко и почти никогда целиком.

— А вам возвращают? — спросила Кэсс в общую тишину так тихо, что слышали только самые ближние. Присцилла Лоу повернулась к ней с той учтивостью, с какой входят в непривычный храм.

— Я учёная, сударыня; возвратов я не беру.

— И наука, — произнесла Кэсс, — за всю историю свою никому не сделала легче, хоть ни разу за это и не извинилась. Что этот спор станет главным в городе осенью, в зале пока никто не знал.

Дверь кабинета открылась прежде, чем кто-то решился постучать. Роза вышла прямая, сухоглазая, с подбородком, поставленным на место усилием, и прошла к своему креслу, не глядя ни на кого; шкатулку она оставила в гардеробной, внизу, и это заметила одна Кэсс.

Кэсс знала эту походку: так выходят из палаты люди, которым только что выложили правду и которые решили не пла-

кать при свидетелях. Ей хотелось догнать Розы, но она осталась на месте, потому что утешение, предложенное слишком быстро, иногда читается как приговор. Вместо этого она запомнила, что шкатулка осталась внизу и что Розы ни разу не обернулась на дверь кабинета, — а не оборачиваются либо к тому, с чем простились, либо к тому, с чем ещё не простились.

После этого кабинет опустел, и настал час контролёров. Марш распахнул обе двери — парадную и служебную, в коридор за помостом, — и предложил осматривать. Присцилла вошла первой, в тонких серых перчатках, провела пальцами по краю стола, не касаясь поверхности, заглянула за штору на кольцах, проверила свечи и вернулась в зал.

— Замков нет ни на одной двери, — констатировала она. — Контролёрам вход свободный, остальным привычка.

— У меня не крадут, — проговорил Марш из угла, бархатно и устало. — У меня берут идеи, и то не все.

У подзеркальника Присцилла задержалась дольше, чем требовал осмотр: не касаясь, чуть прищурившись, — так сверяют памятку с местом, куда её следовало положить. Кэсс приняла это за лабораторную аккуратность и вспомнила эту секунду потом немало раз.

Зеркало висело в простенке между двумя дверями, и под ним стоял подзеркальник с выдвижным ящиком. От зеркала до столика круга было футов двадцать, не больше; Кэсс прикинула это по-сестрински, тем же глазомером, каким из-

меряла расстояние от постели до звонка. Женщина, ищущая в темноте дорогу, проходит двадцать футов за полминуты. Женщина, привыкшая считать шаги, проходит их за двадцать. Мысль была не её, а профессиональная, из тех, что приходят при виде чужой спины и не требуют доказательств, Кэсс запомнила и мысль, и то, что Присцилла, отходя, поправила перчатку на левой руке, хотя не касалась ничего, что могло бы её испачкать.

— Вы осматриваете кабинет, как палату, — заметила Кэсс, когда они снова сошлись у двери. — В палате так смотрят, когда ищут, где лежит то, что больному нельзя.

— Я ищу, где лежит то, что хозяину нельзя, — согласилась Присцилла. — Разница только в том, что больной хочет выздороветь, а гадалец хотел, чтобы болезнь оставалась зрителю видна.

— А вы, доктор, — спросила Кэсс, — чего хотите вы?

— Того же, чего и вы, — чтобы вечер кончился честно. — Присцилла констатировала это без вызова, почти устало; впервые за вечер её лицо стало лицом человека, а не заключением. — Только честность у нас с вами разного веса. Вам достаточно, чтобы человеку стало легче. Мне нужно, чтобы он знал, отчего ему стало легче.

— Может, ему от этого только хуже, — мягко отозвалась Кэсс.

— Может, — согласилась Присцилла. — Но решать это я предпочитаю с открытыми глазами. Иначе вся моя наука

стоит столько же, сколько его эликсир.

Они смотрели друг на друга ровно столько, сколько нужно, чтобы не перейти в спор; зал за их спинами гудел, Верити пересчитывала стаканы, а Марш уже стоял у столика круга, поворачивая фляжку гравировкой к гостям. Кэсс подумала, что в этом вечере у неё появился второй контролёр — тот, которого она не приглашала и которому не могла отказать: её собственный страх, аккуратный, как лабораторный бланк.

Две двери и ни одного секрета — так бывает в домах либо очень честных, либо очень занятых, подумала Кэсс, стоя в проёме и видя, как служебная дверь прямо, без коридорных загогулин, выводит к чёрному ходу павильона. Дорога длинной в минуту, открытая любому, кто скажет «я контролёр», — и она запомнила это без блокнота, потому что блокноты для других фактов.

На гвозде у служебной двери на верёвочке висели деревянные лакированные жетоны контролёров, ровно восемь, и одно место в связке пустовало: запасной, объяснил Джо без злости; хозяин говорил, что на весь город пальцев не хватит. Пустое место в связке выглядело как вопрос, на который ещё не успели написать ответ.

Перед выходом Марш обошёл круг, здороваясь с каждым по имени, ибо имена были его валютой: Верити он назвал хозяйкой половины города, Артура — памятью пирса, Тома — надеждой фамилии, и каждому имени полагалась секунда взгляда, которую невозможно было отвергнуть.

Гая он удостоил коротким наклоном бровей — и это была уже не валюта, а сдача; Роза не удостоил ничего, и зал заметил это раньше, чем она сама. Кэсс отметила и порядок обхода: Марш шёл по кругу против света, так, чтобы каждое лицо вспыхивало ему первым, — режиссура мелкая, выверенная годами, и от этой мелкости вечер становился не теплее, а собраннее.

— Мистер Уинтерборн, — проговорил он напоследок, — вы у нас совесть вечера, контролёр, которого я сам и пригласил. Готовьтесь платить зарплату репутации.

— Репутация у меня бюджетная, — отозвался Орфео. — Плачу натурой, правдой по себестоимости.

В четверть десятого Марш вышел к кругу, и бархат в его голосе включился раньше, чем это сделал свет. На маленьком столике посреди кресел он расставил свечу, два бокала и плоскую никелированную фляжку с вмятиной у донышка, повёрнутую гравировкой к гостям.

— Эликсир медиума, дамы и господа, принимается трижды: у порога, у середины и у двери той стороны. Первая проба — сейчас, при вас, чтобы вы видели: в моих устах ничего, кроме честности. — Он налил на палец, пригубил и поднял глаза. По залу прошёл запах аниса, аптеки и чего-то сладковатого, чем пахнут старые микстуры; Кэсс знала этот запах по дежурствам и не любила его больше всех прочих, потому что под сладким всегда пряталось горькое. — Трижды, только трижды, как учила...

Осечка вышла ровно на слог — там, где свет падает иначе. Марш подхватил гладко, не смазав ни одной ноты:

— ...как учит традиция, — выровнял он фразу на ходу.
— Теперь круг, господа, и руки, господа.

Фразу исправили, но шов не заклеился: зал услышал его так, как море слышит прореху в дамбе, — не громко, а весь сразу.

Кэсс услышала не осечку, а слово. «Учила» — не «учит» и не «учила когда-то»; так говорят о человеке, которого нет в комнате, но чьи уроки ещё держат руки. Она посмотрела на Присциллу: та сидела неподвижно, и только пальцы в серых перчатках лежали на коленях чуть крепче, чем минуту назад. Если доктор и узнала оборванное слово, лицо её об этом не сообщило.

Кэсс села в седьмое кресло, между Артуром и Джо, и положила ладони туда, куда их клали тридцать лет подряд у постелей, когда слова кончались. Левая рука утонула в сухой тёплой ладони Артура — в ладони, похожей на корку хлеба; правую стиснул Джо, торопливо и слишком крепко, как берутся за поручень, а не за человека. Кэсс держала обе не так, как держат в кругу, а так, как держат руку перед уколом: чуть свободнее, чтобы человек мог отнять, и чуть теплее, чтобы не хотел. Под пальцами у Артура бился пульс ровный, стариковский; у Джо — частый, молодой, спотыкающийся. Она отмечала это без лечения и без диагноза, просто чтобы знать, кто из них сегодня первым услышит собственный страх. Ве-

рити пересчитала стаканы, прежде чем покинуть стойку, села последней и коснулась ладоней соседей кончиками пальцев — так проверяют воду в незнакомой реке. Гай дышал через раз; Том смотрел на свечу; Орфео сидел в восьмом кресле, подаренном письмом, с лицом человека, пришедшего проверять счёт.

Свеча легла на столик круга ровным, хозяйским светом; за шторой кабинета тихо переставляли стул: хозяин вечера занимал своё место за кулисами. Внизу, в гардеробной, под замком, оставалась шкатулка с двенадцатью годами внутри, и в этот вечер её не открыла бы ни одна живая рука; а в самом зале сжимались восемь пар ладоней, и никто не считал, сколько из них держат сейчас не соседа, а свой страх.

Восемь кресел, восемь пар рук; над кругом оставался один свет — свеча на столике, и фляжка рядом с ней, никель на тёмном дереве. Фляжка скребнула по столешнице, когда Марш, обходя круг, ставил её ровнее, — мелкий противный звук, на который из всех восьми обернулся один Орфео. Кэсс не обернулась — слушала полуслово, оставшееся в воздухе, «как учила», и складывала его к остальному, что успела собрать за неделю: у каждого осечка бывает своя, а прошлое время и женский род выдают человека вернее записки.

Свеча качнулась без всякого ветра. Штора кабинета дрогнула — начался сеанс.

Глава 5. Уход к духам

Первые десять минут круга Марш держал тишину — правильную, купленную, отрепетированную до секундометра; Орфео знал цену такой тишине, потому что сорок лет продавал её со сцены дороже, чем она стоила. Свеча на столике горела ровно; восемь пар рук лежали в круге, и левая ладонь Орфео постепенно пропиталась влажностью Гая, а правая держала крепкую, честную лапу Джо, которая в любой момент была готова отдёргнуться и извиниться. За шторой ровно дышал хозяин вечера; дыхание было слышно всему залу, и в этом не было волшебства — в этом была исправная вентиляция.

Круг он знал с той стороны, с какой знают собственный номер: по левую руку — Гай, по правую — Джо, дальше — остальные, связанные так, что ни один не может встать, не потянув за собой соседа. В такой круг садятся не для того, чтобы держать руки, а для того, чтобы их некуда было деть. Орфео посчитал и это: восемь ладоней, восемь пульсов, и у каждого пульса свой способ врать. У Верити он бился ровно, как метроном; у Артура — с одышкой; у Тома — часто и коротко; у Розы — так, будто она держала его в кулаке. Про Кэсс он не считал: её пульс он знал сорок лет и не любил проверять то, что и так держится.

Орфео одёрнул себя и стал считать. Он вообще много счи-

тал за последний год — руки иногда подводили, а счёт никогда. Зелёное пламя поднялось из-под ножек стола без единой вспышки: спирт с бурой, панель, подведённая Джо ещё в понедельник, триггер у пятки. Стук пришёл следом — гулкий, толстый; собачка ходила по храповику так ладно, что дребезга не было вовсе. Один удар означал «нет», два означали «да», и зал, затаиваясь, пошёл задавать вопросы.

Считать он начал с пролога, ещё до огня: сколько в круге рук, где у кого свободен большой палец, чьи плечи стоят ближе к шторе. Дальше шёл счёт длиннее и честнее: сколько секунд держится зелёное пламя на спирте, сколько ударов собачки приходится на одну минуту, сколько раз за вечер хозяин кабинета понизил голос до того второго, сдавленного регистра, которого в репетиционном варианте не было вовсе. Сорок лет за кулисами приучили его вести такой счёт молча и двумя колонками: в первой лежала режиссура, во второй — время, вес и порядок выноса вещей, потому что всякая режиссура стоит ровно столько, сколько весят её детали.

Верити спросила о сезоне — два удара, да; лицо её при этом не шевельнулось. Гай начал спросить о чём-то и не докончил, и стук вежливо промолчал. Рози не спросила ничего; она сидела с подбородком, поставленным усилием ещё с половины девятого, и держала руки соседей мёртво и крепко. Кэсс не спрашивала тоже — она слушала, и Орфео видел по её лицу, что слышит она не ответы, а того, кто за шторой. Тридцать лет у чужих постелей дают именно такой слух.

Том спросил, всё ли отец успел проговорить; стук ответил двумя ударами, да, и Том опустил глаза так, будто ответ его не обрадовал, а обязал. Артур спросил, переживёт ли павильон зиму; снова два удара, да, и старик удовлетворённо наклонил голову, словно получил не пророчество, а смету. Присцилла, сидевшая у стены, записывала что-то в блокнот, не поднимая головы; её карандаш двигался ровно, без единой запинки, и это был единственный звук в зале, который не подчинялся хозяину вечера.

А потом духи завели ритм. Стук перестал отвечать и начал танцевать — два-три, два-три, с нажимом на первую долю, и темп этот Орфео знал до тошноты: фокстрот «До встречи на набережной», пластинка пятьдесят девятого года, под которую весь пирс, включая его самого, танцевал двадцать сезонов подряд, пока оркестр отдыхал. Духи стучали в такт пластинке, которой сорок лет не было в этом зале, — и в темпе не сбивались ни на одну долю. У всякого ремесла есть своя честная старость, думал Орфео, сжимая влажную ладонь Гая; у этого ремесла она была бесстыжая.

Он слушал и считал. Собачка на храповике не могла танцевать сама: её водила пружина, а пружину заводили руки. Стук, который держит темп лучше оркестра, — это не голоса с той стороны, это механизм, которому поставили программу. Вопрос был не в том, кто стучал, а в том, кто завёл и кто знал, что заводить надо именно под эту пластинку. Последнее было интереснее: фокстрот пятидесятых знал весь пирс,

но программу вечера знал только тот, кто её писал.

Металл протащили по столешнице за шторой — противный, ввинчивающийся скрежет, и бархатный голос Марша проговорил из темноты, что эликсир принят второй раз, у середины, и духи подходят ближе. Голос менялся на ходу: бархат сходил, как грим, и под ним проступал второй, глухой, сдавленный, будто говорил не хозяин вечера, а кто-то, кому в горле тесно. Зал дрогнул всем кругом, руки сжались сильнее. Голос из-за шторы говорил теперь короткими кусками, оборванными, из-за стены: «Лодка держится у самого причала», — говорил он, и стук отзывался согласием, два удара, да. «Берегите её от северных ветров», — и снова два удара, да. «Он не страдал, он шёл легко», — и зал слушал, забыв дышать.

Орфео отметил и скрежет: металл прошёл по дереву трижды — первый раз в зале, когда Марш ставил фляжку ровнее, второй сейчас, за шторой, и третий будет у двери той стороны, если вечер пойдёт по программе. Три пробы, три скрежета, три глотка — цифра держала вечер, как несущая стена. Он подумал, что если кто-то захочет сломать стену, ему достаточно знать, где она стоит.

«Подписи не меняются», — записал куда-то в себя Орфео. Те же северные ветры стояли в листках Розы, которые он листал в понедельник, и в колонках советов, и в утешительных открытках на стойке аптеки; слова, которым сорок лет, у духов всегда свежие.

Скрежет металла пришёл третий раз — медленнее, с нажимом, будто кто-то в последний раз проверил замок. Эликсир, проговорил бархат, принят и у двери той стороны; духи поднимаются говорить своими устами. Голос из-за шторы поднялся было над кругом, набрал воздуха, дрогнул — и кончился на середине слова, как перерезанная нота.

Тишина после этого была другого сорта. Орфео знал сорок сортов тишины и этот не любил больше всех: тишина, в которой зал ждёт продолжения, а его нет. Он считал: десять секунд, двадцать, тридцать; на сороковой свеча оплыла так, что фитиль стал длиннее пламени, и это было уже не паузой, а поломкой. Свеча догорала, штора не шевелилась, и правая рука Джо где-то на этом промежутке выскользнула из руки Орфео — тихо, без извинений, и он решил было, что парень ушёл к рубильнику готовить свет, потому что в павильоне это единственная веская причина уходить из круга.

Первой поднялась Кэсс — не вскочила, а поднялась, как встают по ночам тридцать лет, и через два шага была за шторой; слышно было, как она окликнула мягко, потом окликнула просто, потом уже позвала на помощь в полный голос. Орфео разорвал круг — руки разомкнулись с чувством, будто рвался не круг, а провод. Он шёл к рубильнику по памяти, и в локте, на середине хода, рука коротко дрогнула — один раз за вечер, в темноте, где этого никто не мог видеть, — и свет ударил в зал.

Марш сидел за столом кабинета, привалившись к спин-

ке, — так, спокойно, устало и удобно, как сидят в гримёрке между номерами. Голова была чуть набок, глаза открыты, лицо не изменилось вовсе, и это было хуже всего, потому что лицо было лицо человека, который сейчас скажет что-нибудь платное. Кэсс стояла рядом, держала его запястье двумя пальцами и уже смотрела на часы.

Она не искала причину смерти; она делала то, что делала тридцать лет: взяла запястье, подержала, посмотрела на часы, приподняла веко, проверила, не запал ли язык. Потом сложила руки Марша на груди — не из театральности, а потому что так удобнее тому, кто придёт потом. Орфео заметил, что она не тронула фляжку, хотя та стояла ближе всех, и не тронула доску, хотя та лежала прямо перед ней. У медсестры был свой протокол, и он начинался с человека, а не с улики.

— Он ушёл, — мягко сообщила она. — Ушёл совсем, минуты две назад.

Никто не двинулся с места. В зале стояла та особенная тишина, когда восемь человек одновременно решают, кто из них имеет право подойти первым; Орфео знал её по авариям за кулисами. Первой шевельнулась Верити: она вышла из круга, поправила штору так, чтобы тело не было видно из зала, и объяснила негромко, что дверь на улицу надо закрыть, а свет не трогать. Это было не бессердечие, а профессия: у неё в отеле умирали постояльцы, и она знала, что живые начинают мешать раньше, чем приезжает полиция.

Рози качнулась вперёд; Кэсс, не оборачиваясь, удержала её за плечо и не дала подняться. Верити беззвучно поправила стул. Том стоял и не садился, будто сядь он — случится то, чего он решил не допускать. На маленьком столике посреди круга, там, где горела свеча, лежала доска в чёрной раме, которой никто не приносил, и по белому полю её шли крупные свежие буквы: «ПРОСТИ, ГАЙ».

Доску Орфео увидел раньше букв: тяжёлая, в чёрной раме, с полем, вытертым до серого блеска. Такую не покупают в лавке письменных принадлежностей; такую держат в кабинете годами, потому что она помнит больше, чем на ней написано. Буквы были свежие, крупные, с нажимом в конце каждой — почерк человека, который привык, чтобы его читали. Орфео не стал трогать; он только отметил, что доска лежала не там, где её оставили, — или там, где её никто не оставлял.

Гай Делакура прочитал это первым — по алфавиту, по складам, с той медлительностью, с какой читают своё имя в чужих документах. Он сел обратно в кресло очень осторожно, как садятся на место, назначенное кем-то другим.

Орфео смотрел не на Гая, а на лица остальных. Верити смотрела на доску; Том — на отца; Артур — на дверь кабинета; Роза — на Гая, и в её глазах было не сочувствие, а узнавание. Присцилла смотрела на Орфео. Это было единственное лицо в зале, которое не проверяло, что написано, а проверяло, кто это прочитает.

Зал заговорил всеми голосами сразу; в гулеплыли слова «послание» и «успел», и кто-то уже плакал не о Марше. Орфео стоял у рубильника и слушал, как в гуле растёт пророчество — города всегда достраивают храм там, где упал человек.

— У гостей, — проговорил он в тишину, не громко, но так, как говорят с рампы, — появилось чувство ритма. Они стучали в темпе «До встречи на набережной», пластинки пятьдесят девятого года. Ни один уважающий себя житель той стороны не стал бы позориться таким вкусом.

Тишина повернулась к нему вся, целиком.

— Это была режиссура, — отрезал Орфео. — Режиссура, а не уход, и прошу город запомнить, что я это произнёс сегодня, при всех и первым.

Инспектор Трент приехала через двадцать минут, в плаще поверх формы, с сержантом Дойлом, который смотрел на помост так, будто там лежало само его детство. Она работала быстро и без единого лишнего слова: место, время, имена, слейт — в пакет, фляжку со стола кабинета — в другой пакет, свидетелей — по одному. Записывалось это ровным почерком, без единого восклицательного знака, и Орфео следил за её колонками с профессиональным уважением: кто у кого держал руку и какой именно, кто разорвал круг первым, в какую дверь выходил, сколько свечей догорело и сколько осталось целых. Такой свод стоит дороже любого свода о невидимом, потому что невидимое пересказывают, и оно портится

на каждом пересказе, а минута, записанная на месте, лежит целиком.

Дошёл обошёл круг с блокнотом и просил каждого назвать соседей справа и слева; ответы совпали, и это было хуже несовпадения, потому что совпадение означало: круг действительно был замкнут. Орфео слышал, как за спиной Гай назвал Джо, Джо назвал его, и никто не ошибся ни на одно имя. В такой арифметике не было щели; щель была в другом — в том, что происходило за шторой, пока все смотрели на свечу.

На «режиссуру» Уинтерборна она подняла глаза один раз.

— Зафиксирую это как «интерпретацию», мистер Уинтерборн.

— Зафиксируйте, инспектор: интерпретации в этом городе наконец появились, — отозвался он.

— Механизм, — повторила Трент, подойдя к нему вплотную. — Вы произнесли это слово при всех. Я прошу назвать его сейчас, без публики.

— Сейчас я назову вам только одно, инспектор: то, что я слышал, было записано. Не духами — руками. Остальное я скажу, когда увижу вашу лабораторию.

— Лаборатория — не театр, мистер Уинтерборн.

— Тем лучше, — отозвался он. — В театре я знаю все выходы.

Окружной врач, маленький и несвежий, приехал ещё раньше полиции, поставил саквояж на кресло и работал мол-

ча, как часовщик. Он пощупал запястье, послушал грудь, по-светил в зрачки, спросил, чем покойный лечился, и записал ответ в блокнот. Фляжку он не открыл и на вопрос Трент о ней ответил, что содержимое — дело лаборатории, а его дело — сердце. Через десять минут он ушёл, оставив формулу: похоже на сердце; решит вскрытие. Трент повторила эту формулу залу, загнав её в рамку протокола.

— Вскрытие покажет, а пока официальная версия — сердце. — И ничего не трогать до вскрытия, — добавила она в зал, ни к кому особо не обращаясь. — Ни вещей, ни версий.

Трент задала кругу три вопроса, и задала их так, будто уже знала ответы. Кто выходил из круга, пока говорил голос? Все молчали, и Орфео слышал, как молчание становится общим ответом: он-то видел, как ушла рука Джо, но Джо стоял теперь у стены и смотрел в пол. Кто видел фляжку после первой пробы? Все. Кто был в кабинете после начала? Только хозяин. Ответы записывались в три ровные колонки, и Орфео видел, как в них складывается то, чего он ждал меньше всего: не история про больное сердце, а история про комнату, в которую никто не входил.

Города умеют обижаться на такие фразы, и этот вечер не стал исключением: шёпот в коридоре был уже плотнее и увереннее, чем десять минут назад, и Орфео слышал со своего угла, как из одного и того же факта лепят две несовместимые правды — про усталое сердце и про дошедший голос. За двадцать минут всеобщего молчания в зале не родилось

ни единой догадки, зато потом, в темноте у вешалки, их родилось с полдюжины; он нарочно пересчитал их по формулкам, и вышло шесть, из них пять про любовь.

За окнами павильона море работало на низких нотах: прибой ходил под сваей, и доски отзывались короткой дрожью, которую не замечали ни полиция, ни врач. Орфео замечал такие вещи раньше. Сорок лет он знал этот павильон как собственный карман, и сейчас дом вёл себя не так, как вчера: тише, осторожнее, будто и он ждал, что кто-то назовёт механизм. На сцене оставались свеча, доска и запах аниса, и ни одна из этих вещей не собиралась объясняться первой.

Люди расходились в ночь группками, шёпотом и громко, и шёпот уже обгонял их по дороге в город. Орфео задержался у выхода, глядя, как Джо, бледный до желтизны, выносит из аппаратной катушку удлинителя, которую он пошёл искать вовсе не там, где она лежала.

— Джо, — позвал Орфео негромко. — Удлинитель лежал на стойке.

Парень чуть не выронил катушку, обернулся и ответил честно: ему велели принести из аппаратной, он и принёс; чьё именно было приказание, вспомнить не сумел, потому что за последние полчаса в павильоне распоряжались четверо и каждый говорил в полную силу.

Орфео отметил, что Джо не произнёс «я не помню»; он произнёс «не сумел вспомнить», а это разные вещи: первое — отговорка, второе — признание, что память работает, но

не отдаёт. Он запомнил и это.

— Запомни это, — произнёс Орфео. — И не извиняйся, пока тебя о том не спросят.

Кэсс подошла и встала рядом — с той стороны, с какой встают, когда замечают дрожь в руке. Потом она достала записную книжку и вывела на полях три строки, ни у кого не спрашивая разрешения: темп фокстрота, минуту обрыва голоса и — отдельно, со знаком вопроса — чью катушку вынесли из аппаратной. Орфео смотрел на её почерк и чувствовал то спокойное уважение, какое чувствуешь к чужой хорошо сделанной работе: у него в голове те же строки стояли в ряд, но стояли бесхозно, а у них уже нашёлся хозяин.

— Значит, ты видел всё, что здесь сегодня было? — спросила она вполголоса, глядя на Джо.

— Всё, дорогая моя, — проговорил Орфео. — А главное — я это слышал. Сердце не бывает в такт пластинке.

Глава 6. Музей шарлатана

Записку от инспектора Трент принесли в «Комнату тишины» в полночь, и Кэсс прочла её при свете прихожей, не трогая верхней лампы. Инспектор просила явиться в «Империял-отель» к десяти — «как первую при теле и как человека с руками сиделки» — и сообщала, что при описи имущества покойного требуется второй подписант со стороны павильона. Кэсс перечла текст дважды и отметила про себя вежливую хватку фразы, в которой отказ уже был посчитан и подшит к делу. Записка оставляла ей право не прийти, и потому прийти следовало — на таком правиле стоят все честные вызовы. Она положила бумагу под остывший чайник и разрешила дому молчать до утра, потому что час, когда молчат без объяснений, в этом доме принадлежал ей одной.

Дождь начался после часа ночи и шёл ровно, без ветра; по крыше Комнаты он стучал так, как стучат в дверь, которую не собираются открывать. Кэсс не спала. Она сидела в кресле у окна, с шалью на плечах, и слушала, как город перекладывает вчерашний вечер с одной улицы на другую: у кого-то хлопнула калитка, где-то засмеялись и сразу замолчали, а внизу, на набережной, двое долго не могли разойтись, потому что один говорил, а другой не хотел слушать. В такие ночи Кэсс всегда знала: к утру у города будет не одна версия, а столько, сколько у него окон.

Утро вышло из измороси и к десяти ещё не решило, будет ли из него дождь. «Комната тишины» простояла первую половину дня пустой, и Кэсс позволила ей отдохнуть от чужих горестей так, как дают отдохнуть рукам после долгой смены. Город шептался уже на улице: у булочной двое обсуждали «послание на доске» с тем особым удовольствием, с которым хорошие люди перекладывают чужое горе из руки в руку. Кэсс поправила шаль, прошла вдоль гавани и поднялась по верхней улице к отелю, слушая, как вчерашний вечер за её спиной обрастает подробностями, которых при ней не было.

В «Империале» пахло ваксой, морёным деревом и пылью, которую летом не успевали замечать. Сезон кончился, и стеклянные двери в вестибюле держали за спиной половину темноты; стойка портье была свободна, и только часы над нею отстукивали ровно, как человек, не прочитавший утренних газет. Управляющая ждала в холле — прямая спина, серое платье с брошью, ключи на кольце у пояса; в руках у неё был поднос с чайной парой, накрытой салфеткой.

— Миссис Найт, инспектор ждёт вас наверху, — ответила Верити вместо приветствия и придержала дверь в боковой коридор. — Чай по протоколу отеля подаётся в полдень; до полудня у вас с инспектором полных два часа. Заведение прежде всего, даже в такие дни.

Коридор второго этажа вёл к кабинету через память о море: под потолком тянулась сеть с пробковыми поплавками, на стенах висели фотографии рыбацких команд, заспирито-

ванная морская звезда и модель шхуны, у которой за много лет стёрлись все снасти, кроме горделивого наклона мачт. Латунный судовой колокол висел у самой двери кабинета, и табличка под ним обещала гостям «сигнал к обеду и к счастью». Подписи под фотографиями Кэсс читала не спеша, люди в свитерах держали улов длиннее себя, и дом, собранный из чужих счастливых дней, пахнул почему-то тщательно закрытой комнатой.

Верити шла впереди ровным шагом, и ключи на её поясе отзванивали каждые два шага; Кэсс поймала себя на том, что считает этот звон, как считают пульс. У дверей с номерами стояли подносы с остывшим чаем, и на одном лежала записка, которую никто не взял. Отель переживал смерть постояльца так, как переживают непогоду: закрывали окна, выносили зонты, а счёт оставляли на прежнем месте.

У двери кабинета дежурил сержант Дойл; он снял с двери бумажную пломбу, отступил на шаг и пропустил обеих внутрь с тем выражением, с которым молодые люди входят в воду в мае. Кабинет оказался комнатой, собранной по принципу витрины: на стенах висели доски для писемён, алфавитные планшеты, свечные автоматы, колокольчики на шёлковых нитях; в стеклянном шкафу лежали роговые пластинки, медные молоточки и воронки для «эфира», и всё это было вытерто, расставлено и подписано маленькими аккуратными ярлыками. За свою жизнь она видела палаты, в которых умирающий человек держал всё необходимое на рассто-

янии вытянутой руки, и этот кабинет был устроен тем же способом — только лежало под рукой здесь не лекарство, а ремесло.

Кэсс обошла комнату по периметру, не касаясь вещей, и отметила то, что отметила бы в палате: у кресла хозяина подлокотник вытерт сильнее, чем у гостевых; на столе — три карандаша, все очищены с одного конца; в углу — корзина, в которой лежали обрезки чёрной ткани и обрывок медной проволоки. В комнате, где человек принимает город, всегда видно, где он сидит сам, — по вытертому месту и по тому, куда он ставит чашку.

— Опись на этажерке, ящик под окном, — повторила Трент, водя взглядом по столу с закрытой папкой. — Подписываете второй строкой, я первой. Если что-то в описи разойдётся с содержимым — говорите сразу, несовпадение — это тоже факт.

Ящик стоял на низкой этажерке под окном — старый, с латунными уголками и трафаретом, выцветшим до тени буквы, — «ИМУЩЕСТВО МАДАМ СИВИЛЛЫ». Замка на нём не было давно; крышка поднялась тяжело, с пыльным вздохом, и открыла войлочные гнёзда, в которых лежали вещи старше всех, собравшихся вчера в круге: роговые пластинки «да» и «нет», стёртые до гладкости, свинцовые «слёзы духов» в бумажном кульке, стеклянная воронка с трещиной, починенной медной проволокой. Одно гнездо, овальное, с примятым краем, стояло пустое; поверх содержимого лежал лист опи-

си, исписанный мелким ровным почерком, и Кэсс узнала руку Марша по тем же нажимам, какими вчера были выведены слова на доске.

Опись перечисляла двадцать три предмета, и против последней строки стояла пометка рукой хозяина: «аптечка серебряная со времён шапито — утрачена». Внизу листа была дата проверки, и дата эта отстояла от вчерашнего вечера на два дня. Кэсс провела пальцем вдоль строки, не касаясь чернил, и посмотрела на пустое гнездо — войлок в нём хранил форму вещи, которую здесь берегли долго.

— Хозяин проверял своё хозяйство за два дня до смерти, — уточнила Трент, водя карандашом вдоль той же строки. — Аптечку он в этот день уже не застал и потрудился записать пропажу. Мне понадобился бы один такой лист вместо трёх томов объяснений.

— В мои годы на ярмарках такие аптечки носили гипнотизёры, — мягко добавила Кэсс, всё ещё глядя на войлок. — Серебряная коробочка, капли, пинцет — всё для вида, ничего для дела. Гости ярмарок любили, когда у целителя был свой чемоданчик, как у доктора.

— Значит, вещь была видная, — отрезала Трент и записала в свою папку два слова. — Видные вещи пропадают у тех, кто знает им цену. Продолжим, миссис Найт, у нас ещё целая стена газет.

Кэсс ещё раз посмотрела на пустое гнездо. В войлоке осталась вмятина от коробочки, и по её форме можно было по-

нять, что коробочка была плоская, с закруглёнными углами, чуть больше ладони. Такую носят не для лечения, а для вида: достать при публике, звякнуть серебром, убрать. Вещь, которую показывают, всегда исчезает громче, чем вещь, которой пользуются.

Сержант Дойл тем временем раскладывал у окна пакет с чистыми ярлыками и нумеровал предметы из ящика с неторопливой бережностью, которая в полиции считается дурной привычкой, а на деле стоит дороже любой скорости: роговые пластинки он переложил в войлочные гнёзда дважды, спорную воронку обернул собственной салфеткой, а на пустое овальное гнездо наклеил ярлык с прочерком вместо номера, потому что, как он объяснил под инспекторским взглядом, вещь, которой нет, тоже нуждается в описи.

Полки с подшивками занимали всю стену напротив шкафа: переплетённые тома «Маркхэм Курьер», выстроенные по годам, тянулись четыре десятка лет, и корешки их потемнели одинаково, как темнеют вещи, которых касаются редко, но регулярно. Кэсс потянула том прошлого октября и полистала: объявления, происшествия, колонка советов садоводу, где заголовок обещал гортензиям защиту от северных ветров. Она остановилась на этой колонке, прочитала её дважды и положила том обратно корешком к себе, ничего пока не говоря.

Подшивки она читала тем способом, каким читала всю жизнь чужие истории болезни: сначала поля и даты, потом

заголовки и только потом текст. В двух томах подряд краешки страниц были подогнуты — и подогнуты не тем пальцем, каким подгибают их хозяева; читатель этого ряда был чужой, но постоянный. В томе позапрошлого года между страницами лежала обёртка от леденцов, и Кэсс вернула её на место, потому что чужие закладки чинят гораздо реже, чем портят.

В третьем томе, за восемьдесят девятый год, она нашла колонку, где советовали «беречь девиц от северных ветров» и подписываться на «Курьер» до Рождества; рядом кто-то обвёл карандашом объявление о продаже швейной машинки. Кэсс прочитала оба текста и поняла, что подшивка — это не архив, а склад готовых фраз: город приходил сюда за утешением, как приходят в лавку за пуговицей, и уходил с тем, что подошло по размеру. Марш не выдумывал послания; он выбирал их по каталогу.

— Мистер Марш брал подшивки из архива газеты с восемьдесят четвёртого года, — пояснила Верити, стоявшая у двери со связкой ключей. — Он платил за переплёт и за хранение и говорил, что сцена требует пищи. По вторникам к нему возили новые тома, и по вторникам ему не докучали.

— Зачем вещателю газеты, миссис Коул? — спросила Кэсс негромко, глядя на ряд корешков. — Вы не спрашивали его об этом за все годы?

— В моём заведении не спрашивают гостей об их материалах, — ответила Верити без паузы, — спрашивают о счетах, и счета мистера Марша всегда сходились.

Кэсс вернулась к ящику и встала рядом с инспектором, и в тишине кабинета они ещё раз перечли лист описи — каждая своим способом. Умиравшие не сочиняют молитв, думала Кэсс; они цитируют то, что слышали всю жизнь, и никто не считает это обманом. Духи вчерашнего вечера говорили тем же способом — чужими, давно напечатанными словами, и где-то на этих полках лежали их черновики, аккуратно переплетённые в картон. Она оставила догадку при себе, потому что такие вещи, выговоренные вслух, перестают быть догадкой и становятся показанием.

— Формально у меня версии «сердце» и только «сердце», — констатировала Трент, закрывая крышку ящика. — Неформально в этой комнате кто-то задолго до вчерашнего вечера заготовил доску с извинением, и заготовку такую сердцем не называют. Если это механика, она сидит в этих ящиках, и я её найду. Если это химия, она была в том, что он пил, и тогда мне нужен список всех, кто входил сюда без свидетелей. Доступ — вот и вся арифметика этого коридора, миссис Найт.

Кэсс молча прошлась по этому коридору мысленно, как проходили по чужой квартире в темноте: одно окошко на восток, дверь в зал, другая в аппаратную, ключ от кабинета на кольце управляющей, дубликат — где-то в заведении, и никто не возьмётся определить, где именно. Арифметика выходила зловеще спокойная: за неделю до смерти в эту комнату мог войти весь город, и никому нечем было доказать, что

он не входил. Кэсс знала такой счёт по аптечным амбарам, где всегда хранилось то, чем потом отравлялись.

— Фляжка со стола уедет в окружную лабораторию сегодня, — продолжила она, поправляя папку. — Ответ по со-
держимому обещают к концу недели, и я попрошу вас быть на связи. Вопросы я задам вам отдельно, миссис Найт, и вы поймёте, почему.

— Фляжка его собственная, — подхватила Кэсс, не дожидаясь вопроса. — Никелированная, с вмятиной у доньшка, из тех походных, какие полагались каждому фокуснику его поколения. Он приносил её в павильон на каждую репетицию и наливал себе сам; о том, что налили ему в последний раз, я судить не стану, потому что стакана у его губ я не ви-
дела.

— Так и держитесь, — посоветовала Трент. — Вещь можно описать, а напиток приходится угадывать.

Кэсс поняла и без объяснений; имя её стояло в списке тех, кого покойный обещал разоблачить со сцены, и инспектор не могла не помнить об этом списке. Она наклонила голову — медленно, без обиды, потому что обижаться на порядок было так же бессмысленно, как обижаться на градусник. Страх за «Комнату» шевельнулся было под шалью и улёгся обратно: дверь её дела открывалась только изнутри, и пока она сама не скажет слов, слов этих не скажет никто.

Город уже пересказывал её имя на все лады, и Кэсс это знала. У булочной её спрашивали, правда ли, что медиум на-

звал её в книге первой; у весовой — правда ли, что она была в круге и держала руку покойного; на набережной нашлись двое, которые утверждали, что видели, как она выходила из кабинета до сеанса. Ничего этого не было, но город не нуждался в доказательствах: ему нужна была история, в которой у смерти есть лицо, а у лица — имя. Кэсс не оправдывалась. Она давно выучила, что оправдание в таком разговоре звучит как признание, а молчание — как высокомерие; оставалось третье, самое трудное: делать своё дело так, чтобы молва устала раньше её.

Чай подали в полдень, с точностью до четверти часа; Верити разлила по чашкам, поставила молочник отдельно от сахара и объявила состав чаепития, как объявляют меню. Печенье было песочное, с кристаллом соли сверху, пар вставал над чашками ровным столбом, и за окном изморось наконец решилась на дождь — мелкий, честный, октябрьский. Верити присела на краю кресла и говорила о сезоне, о счетах и о расписании, и в её словах смерть соседствовала с резервациями на правах постояльца, который не заплатил за выезд.

Кэсс слушала и считала. В голосе управляющей слышалась не траурная нота, а бухгалтерия: сколько номеров закрыто, сколько счетов не оплачено, сколько дней осталось до весны. Осуждать её было бы легко и несправедливо; в «Комнате тишины» тоже стоял свой счётчик — чай, свечи, отопление, — и Кэсс знала, что доброта, которая не умеет считать, долго не живёт. Но за цифрами у Верити пряталось что-

то ещё, и это «ещё» она слышала так, как слышат в разговоре паузу перед словом, которое не хотят произносить.

— Мистер Марш бронировал зал до пятого числа, — отметила Верити, поправляя салфетку. — «Прощальное откровение», афиша была уже заказана. Предоплата лежит в моём сейфе, и заведение до сих пор не знает, считать её счётом или наследством.

— Афишу повесили? — спросила Кэсс, сама не ожидая от себя этого вопроса.

— Повесили, — ответила Верити. — У входа в павильон, под двумя лампами, чтобы было видно с набережной. Снимать я не велела: заведение не участвует в чужом трауре бесплатно.

— А если её снимут без вас? — спросила Кэсс.

— Тогда я выставлю счёт тому, кто снимет, — ответила Верити. — У заведения есть прејскурант и на траур. Смерть — не повод работать бесплатно.

Кэсс отметила, что управляющая выбрала «заведение», а не «я», и подумала, что у каждого человека есть слово, которым он прикрывает то, что болит.

Трент подняла голову от папки и записала что-то короткое. Кэсс поняла, что только что прозвучал адрес улики — не самой афиши, а привычки: город, который любит объявления, рано или поздно начинает читать все подряд, и тот, кто их вешает, всегда помнит больше, чем тот, кто их читает.

Кэсс отставила чашку, поблагодарила управляющую и пе-

ред выходом обернулась к письменному столу — и увидела книгу. Инвентарная книга в коленкоровом переплёте лежала посреди стола открытой, и страницы её были исписаны мелким торопливым почерком за последние дни: заголовок «ДЛЯ ОТКРОВЕНИЯ», под ним столбец предметов с галочками, даты по краю поля, и последняя строка была заполнена вчера к полудню. В строке «слейты» стояло: «два, один в раме, чёрный». В строке «фляжка» — «одна, никель, вмятина». Почерк на этих двух строках был ровнее, чем на остальных, будто хозяин записывал их не впервые. Книгу так оставляют не на ночь, а на минуту; хозяин этой комнаты собирал свой музей сам, построчно, и не успел переплести.

— Он не всё успел рассказать, — мягко отозвалась Кэсс, натягивая у двери шаль. — А собирался, похоже, рассказать городу всё.

Трент ничего не ответила, только записала в папку ещё два слова; колокол в коридоре отбил четверть первого и обещал счастье, и Кэсс подумала, спускаясь по лестнице мимо фотографий с уловами, что тишина за вчерашней шторой была последним номером, который хозяин этого музея так и не разобрал до механизма.

На нижней площадке она остановилась у окна. Дождь шёл по стеклу косыми штрихами, и в нём расплывались огни набережной; внизу Верити принимала у кого-то мокрый зонт и говорила, что заведение закрыто до весны, но чай подаст. Кэсс смотрела на неё и думала, что у каждого в этом городе

есть свой музей: у Марша — из досок и фляжек, у Верити — из ключей и счетов, у неё самой — из двух кресел, чайника и шкатулки, которую она никому не показывает. Разница только в том, что одни музеи открывают для публики, а другие держат закрытыми, и в закрытых всегда пахнет сильнее.

Глава 7. «ПРОСТИ, ГАЙ»

Буран подошёл с моря за ночь и к девяти утра уже вылизывал витрины пирса мокрым снегом, и в лавке «Секрета нет» было слышно, как за стеклом гудит пустой сезон. Орфео обнаружил побег раньше, чем беглеца: клетка на комодѣ стояла с дверцей нараспашку, а сам беглец сидѣл в тазу с опилками у печки и с видом хозяина гостиницы разбираѣл лапами свежую стружку. Клетка была заперта на простой проволочный крюк изнутри, и решение лежало на поверхности для всякого, у кого лапы устроены как отмычка, а время есть всегда: крюк следовало не тянуть, а повернуть, опираясь на прутья, как на точку опоры. Орфео прочѣл механику глазами, одобритѣльно крякнул и вынул из кармана морковку, которую всю жизнь носил туда «случайно».

Ветер бил в витрину так, что афиши на стене вздрагивали, и Орфео, протирая стекло, видел, как на набережной люди идут боком, а собаки — сидя, потому что лапам тоже нужен отдых. Лавка в такой день работала как приют: заходили погрѣться, стряхивали снег, спрашивали, правда ли, что вчера в павильоне было «послание», и уходили, унося по одной фразе. Орфео не опровергал и не подтверждал; он наливал чай и слушал, потому что в буран город говорит о себе больше, чем в ясный день.

— Талант, приятель, — проговорил он, опуская морковку

в таз. — Копай глубже, я ничего не видел.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.